

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

В. С. Вахитайн

**«НЕУДОБНАЯ» КЛАССИКА
СОЦИОЛОГИИ XX ВЕКА:
ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
ИРВИНГА ГОФМАНА**

Препринт WP6/2006/05

Серия WP6

Гуманитарные исследования ИГИТИ

Москва
ГУ ВШЭ
2006

УДК 316.2

ББК 60.5

В 22

Редактор серии WP6
«Гуманитарные исследования ИГИТИ»
И.М. Савельева

В 22 **Вахштайн В.С.** «Неудобная» классика социологии XX века: творческое наследие Ирвинга Гофмана. Препринт WP6/2006/05. — М.: ГУ ВШЭ, 2006. — 52 с.

«Неудобная» классика — это тексты, признанные классическими, но не находящие себе места в каноне социологии, стоящие в стороне от распространенного понимания классичности и потому не получающие конвенционального прочтения. Настоящая статья представляет собой исследование подобного «неклассически» классического наследия (на примере работ Ирвинга Гофмана) и, одновременно, попытку использования теоретических ресурсов социологии повседневности для решения одной из центральных проблем современного науковедения — проблемы определения роли и места классики в корпусе научного знания. В социологии эта проблема стоит особенно остро. Вследствие затянувшегося «спора о классике» (Р. Мертон, Дж. Александер, Р. Коллинз), в социологической дисциплине утвердилась «замкнутая модель классичности»: научная классика, подобно всякому социальному явлению, объясняется социальными же причинами — преимущественно, обстоятельствами усвоения и признания работ того или иного социолога. В данной статье автор стремится сформулировать альтернативную — «социологическую, но не социологистскую» — логику анализа классичности. В основе этой логики лежит представление о специфической трансцендентности классического наследия, поддерживающего двустороннюю связь мира идей и мира их социального обращения в повседневном обиходе науки.

УДК 316.2

ББК 60.5

Vakhshayn Victor S. «Embarrassing» classicality in XX century sociology: Erving Goffman's legacy. Working Paper WP6/2006/05. — Moscow: State University — Higher School of Economics, 2006. — 52 p. (in Russian).

«Embarrassing» classical legacy in sociology is the totality of works recognized as classical but unsettled in sociological canon and distant away from classical theoretical mainstream. This paper is aimed at investigation of such “non-classical classicality” particularly represented by works of Erving Goffman. Based on sociology of everyday life theoretical findings, this paper dedicates to one of the most significant problems in modern science studies, the problem of classicality. That problem is crucial in sociology. As a result of long-drawn debate about classics (R. Merton, J. Alexander, R. Collins) the “secluded model of classicality” was firmly established in social science. According to that model classical legacy as any other social fact must be explained by social reasons (mainly by social circumstances of classical works reception and valorization). The author is trying to develop alternative — “sociological, but non-sociologistic” — logic of analysis. Suggested approach underlines specific transcendence of classicality, bearing two-way relations between the realm of ideas and the realm of their social.

Препринты ГУ ВШЭ размещаются на сайте: <http://new.hse.ru/C3/C18/preprintsID/default.aspx>

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках исследовательского проекта 06-03-00292а «Классика и классики в социогуманитарном знании: формирование и функции»

© В.С. Вахштайн, 2006

© Оформление. ГУ ВШЭ, 2006

И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы восходят и нисходят по ней...

Бытие 28: 12

...Фигуры ангелов выделяются на фоне виртуозно написанного ночного пейзажа. Интересно, что по замыслу заказчика пейзажные фоны должен был писать Игнасио Ириарте. Однако художники стали спорить о том, кто должен к кому приспособливаться, и Мурильо все написал сам, что позволяет оценить его высокое мастерство пейзажиста.

«Эрмитаж», из комментариев к картине Б.Э. Мурильо «Сон Иакова»

Данная работа посвящена феномену «неудобной классики» — текстам, признанным классическими, но не находящим себе места в каноне социологии, стоящим в стороне от распространенного понимания классичности и потому не имеющим конвенционального прочтения. Существование таких «неклассически классических» текстов порождает ряд трудностей — *неудобств* — в их использовании, создает предпосылки для многочисленных реинтерпретаций, ни одна из которых в итоге не получает статуса истинной.

История социологии изобилует примерами неудобной классики. Можно ли на основании их рассмотрения делать выводы о неудобной классике как универсальном феномене? Или, напротив, неудобная классичность некоторых признанных авторов является атрибутом исключительно социологической науки? Мы оставляем открытыми эти вопросы. Чтобы ответить на них, необходимо знать границы, в которых правомерно использование понятия «неудобная классика». Если границы эти совпадают с границами дисциплины, значит, мы говорим о специфическом для социологии феномене. Следовательно, примеры неудобной классики, почерпнутые из социологии, обречены оставаться иллюстрациями, отдельными «неувязками», не имеющими отношения к зрелым дисциплинам. Даже наиболее убедительные случаи «не-

удобств» классического наследия, заимствованные из истории социологии, ничего не скажут о правомерности сходной постановки проблемы в психологии, экономике, филологии или антропологии. И если бы наше исследование включало в себя рассмотрение — наряду с работами неудобного классика социологии Ирвинга Гофмана — трудов неудобных классиков смежных дисциплин, мы и тогда вряд ли могли бы с уверенностью говорить о междисциплинарной природе неудобной классичности.

Собственно поэтому вопрос — являются ли анализируемые в этом тексте примеры специфичными для социальной теории или в них проявляется некая общая закономерность усвоения, признания и последующего использования классических работ в повседневном обиходе науки — мы выносим за скобки. Важно другое: различение удобной/неудобной классики позволяет поставить ряд проблем, значимых как для самой социологической дисциплины (периодически пополняющей пантеон своих классиков за счет экспансии на новые предметные территории), так и для междисциплинарной дискуссии о классике, послужившей поводом к написанию этого текста.

1. Модели классичности

Обсуждение природы социологической классики возникает, как правило, в контексте самопрезентации социологии. Самопрезентация науки — элемент ее самоописания, своего рода проекция «вовне» дисциплины конвенциональных представлений о ее предмете, методологии и категориальном аппарате. Закономерно, что осмысление положения социологии в ряду других дисциплин требует «инвентаризации» имеющихся в ее распоряжении теоретических ресурсов и особенно — ресурсов классических. Классические концепции в перспективе дисциплинарной самопрезентации выполняют ориентационную функцию: ответ на вопрос «Что есть социологическая классика?» связан с ответами на вопросы «Что есть предмет социологии?», «Каковы границы социологической дисциплины?», «Чем социологический способ рассуждения отличается от экономического, исторического, юридического или психологического?»¹. Так формируется конвенциональная *модель классичности*.

¹ Всего лишь один пример — стремительное развитие экономической социологии в последнее десятилетие, как своего рода «контрнаступление» в ответ на

Модель классичности — это совокупность аксиоматических допущений, на которых основывается ответ на вопрос «Что есть классика?». Выбор в пользу той или иной модели классичности означает представление социологии либо в облике «нормальной науки» (т.е. области знания, скроенной по лекалу естественно-научных дисциплин), либо в качестве образцовой «науки о духе», предназначение которой — истолковывающее понимание социальной жизни, либо в образе некоей «третьей культуры», элиминирующей само различие гуманитарного и естественно-научного знания. Моделей классичности существует столько же, сколько логик определения классики и ее места в корпусе дисциплины.

Роберт Мертон, один из наиболее авторитетных апологетов естественно-научной модели классичности в социологии, в 1947 г. положил начало очередному «спору о классике». Следуя известной уайтхедовской максиме («...наука, не забывшая своих классиков, — бесплодна»), Мертон предостерегает от «сползания социологии в историческую систематику»². Экзегеза классических текстов, стремление сохранить их в качестве элементов «живого», непосредственного опыта современной науки, по мнению Мертона, препятствуют кумулятивному накоплению знания, лишая социологию подлинной научности.

Естественно-научная модель классичности, вопреки максиме Уайтхеда, отнюдь не предполагает неперемного забвения классики. Однако в ней корпус классических работ составляют «экземпляры»: исследования и эксперименты, примеры успешных решений эмпирических задач. «Хоуторнский эксперимент», «“Янки-Сити”», «парадокс Лапьера» — вот лишь несколько конвенциональных экземпляров, закрепившихся в каноне социологических изысканий, как свидетельства родства социологии и естественных наук. Стоит добавить, что время в такой модели линейно, а потому «классика экземпляров» не знает возвраще-

экспансию экономических теорий потребовало: а) срочной реканонизации «своих» классиков (М. Вебера, Г. Зиммеля) в новом статусе — статусе зачинателей экономосоциологического мышления; б) принесения дани памяти и уважения авторам, чьи работы еще десять лет назад вряд ли бы заинтересовали социолога в силу чуждости проблематики (см.: Западная экономическая социология: хрестоматия современной классики. Пер. с англ., фр., нем. / Сост. и науч. ред. В. В. Радаев. М.: РОССПЭН, 2004). Таким образом, обращение к классике актуализируется возникновением каждого нового самоописания дисциплины.

² Merton R. K. *Social Theory and Social Structure*. N.Y.: Free Press, 1967. P. 1—38.

ния, перечитывания и толкования канонизированных текстов. Экземпляры требуют от исследователя не воспроизводства, а преодоления.

После атаки Мертона спор о классике в социологии движется по накатанной колее противопоставления естественно-научной и гуманитарной моделей классичности. В свете этой бинарной оппозиции вопрос о специфичности социологической классики не поднимается: либо классика социологии — это «классика экземпляров» и тогда место социологии в ряду «нормальных наук», либо это «классика экзегезы» и тогда социология являет собой разновидность герменевтики. Собственно, ни одна из двух этих логик определения классичности не является для социологии «своей», укорененной в культуре социологического мышления. А потому спор о классике ведется в рамках универсалистских конвенций, на «метадисциплинарном» языке — традиционные концепты социологии («статус», «роль», «институт») остаются в стороне, когда речь заходит о самой социологии.

Вряд ли сегодня можно с точностью определить, кому именно принадлежит сомнительная честь перевода проблемы социологической классики на язык социологии и разоблачения «подлинно социальной» природы классичности. Этот ход — обнаружение за исследуемым предметом скрытых, детерминирующих его социальных факторов — столь характерен для социологического теоретизирования, что сам вопрос об авторстве подобной постановки вопроса кажется неуместным. Джеффри Александер, чья работа³ подвела своеобразный итог спору о классике в 1980-е гг., далеко не самый радикальный (но весьма авторитетный) сторонник такого переопределения.

«Классические работы, — пишет Александер, отстаивая исключительное значение классиков в социологии, — это более ранние исследования, получившие привилегированный статус по сравнению с более поздними работами в той же области»⁴. Иными словами, классика — это результат процессов классикализации и валоризации (наделения привилегированным статусом). Причина «живучести» классики — в ее *функциональности*. Ориентация на классику позволяет сохранить единство дисциплины, задать рамки взаимодействия и каноны аргументации. Классики признаются классиками, потому что такое признание отвечает «потребности» научного сообщества оставаться сообществом

³ Alexander J. C. The Centrality of the Classics // Social Theory Today / Ed. by A. Giddens, J. Turner. Cambridge: Polity Press, 1987.

⁴Alexander J. C. Ibid. P. 11—12.

(т.е. организованной группой людей, поддерживающих необходимый минимум общих, разделяемых всеми членами группы верований и ритуалов).

Данная интерпретация помещает проблему классики в контекст социальных институтов и механизмов поддержания солидарности, статусов и функций, норм и иерархий. А.Ф. Филиппов, пародируя сведения классичности к «привилегированному статусу», описал еще более радикальный вариант социологического рассуждения о классике:

«В некоторых отношениях классики напоминают ритуальные фигуры: признание их статуса... есть позитивный ритуал; регулярные попытки поставить под сомнение ту или иную классическую работу или группу идей — негативный ритуал; попытки утвердить нового классика — ритуал оплакивания, но не безвременного ушедшего, а безвременного забытого члена группы»⁵.

Сопоставление социологического сообщества с племенем дикарей, взывающих к духам предков, нуждающихся в тотемах и идолах для поддержания солидарности, — не самое лестное, но далеко и не самое уничижительное в этом ряду. Томас Шефф описывает академические школы по аналогии с организованными преступными группировками, коллективная идентичность которых основана на верности заветам легендарных «авторитетов» — классиков⁶.

У социологизма (как наиболее социологического из всех способов рассуждения о классичности) есть предельно конкретный ответ на вопрос о природе классики. *Классичность — это конвенция, результат соглашения*. Основания конвенции следует искать в первую очередь в социальных обстоятельствах рецепции идей и наделения их статусом классических.

2. Логика рецепции

Многие распространенные сегодня определения социологической классики включают в себя отсылку к механизмам рецепции и последующей классикализации канонических работ. Данная логика (далее мы

⁵ Филиппов А. Ф. Теоретические основания социологии пространства. М.: Канон-Пресс-Ц, 2003. С. 29.

⁶ См.: Scheff T. J. Academic Gangs // Crime, Law, and Social Change. 1995. No. 23.

будем называть ее *логикой рецепции*) представлена в большинстве академических споров о природе классичности в социологии⁷. Среди объемных монографий, посвященных жизни и творчеству признанных авторитетов социологии, трудно найти такие, в которых не была бы задействована подобная логика анализа.

Отличительный признак рецепционистской перспективы — аргументация «от социальных обстоятельств», т.е. наделение чрезвычайным значением самих обстоятельств усвоения идей будущего классика. Так, становление школы Э. Дюркгейма (и вместе с ней — успешная институционализация социологии во Франции) объясняется политической близостью Дюркгейма к лагерю «оппортунистов», занимавших промежуточные позиции между «либеральными прогрессистами» и «консервативными католическими кругами»⁸. Не менее характерным для данной логики анализа представляется аргумент Вольфа Лепенеса: Дюркгейм сумел занять выгодную позицию в деле Дрейфуса, и это в немалой степени способствовало росту популярности социологизма⁹.

Логика рецепции одинаково хорошо объясняет успехи и неудачи классикализации. Например, труды Георга Зиммеля, отмечает Д. Левин, не были усвоены американским академическим сообществом из-за досадного недоразумения: Т. Парсонс намеренно исключил из своей «Структуры социального действия» фрагмент, целиком посвященный разбору зиммелевской концепции. Виною тому послужило соперничество Парсонса с Говардом Беккером — апологетом социологических идей Зиммеля. Таким образом, успешная классикализация самого Т. Парсонса означала для Г. Зиммеля забвение¹⁰. Можно предположить, что если бы вместо Парсонса канонизировали Беккера — пантеон классиков социологии сегодня выглядел бы совершенно иначе.

Основная трудность подобного решения «проблемы классики» состоит в том, что за скобками остается само содержание классических

⁷ См., например, статью Р. Коннела: Connel R. W. Why is Classical Theory Classical? // American Journal of Sociology. 1997. Vol. 102. No. 6. и комментарий Р. Коллинза: Collins R. A Sociological Guilt Trip. Comment on Connel // American Journal of Sociology. 1997. Vol. 102. No. 6.

⁸ Wagner G. Emile Durkheim und Der Opportunismus // Jahrbuch für Soziologiegeschichte, 1995.

⁹ Lepenies W. Die Drei Kulturen. Soziologie zwischen Literatur und Wissenschaft. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1988.

¹⁰ Levine D. N. Simmel and Parsons Reconsidered // American Journal of Sociology. 1991. Vol. 96. No. 5.

работ. Все внимание уделяется их прочтению, признанию и валоризации. Исследование классики подменяется в данной логике изучением «институтов классикализации» и «механизмов валоризации» — своего рода подпольной индустрии конвенций. (Подпольной, потому что конвенциональная природа классичности должна быть скрыта от участников научных ритуалов подобно тому, как социальная функция жертвоприношения скрыта от членов племени.)

Социологизм в исследованиях науки так же релятивировал классичность, как социологизм Дюркгейма релятивировал ритуалы и верования аборигенов. Бруно Латур в этой связи замечает:

«Обществоведы без особого труда убедили себя: чтобы объяснить ритуалы, верования, видения или чудеса (т.е. трансцендентные объекты, каковым акторы приписывают свойство быть первопричиной какого-либо действия) вполне допустимо (хотя и не всегда легко) *заместить* содержание этих объектов функциями общества, которые были скрыты в этих объектах и имитированы ими. Как только произошла *подмена* ложных объектов, относящихся к верованиям, истинными объектами, относящимися к обществу, ничего больше в религии не заслуживает внимания, кроме социальных сил, которые она умело скрывает»¹¹.

Так же и классичность деконструируется логикой рецепции: теоретики прошлого селятся убедить нас в непреходящей ценности своих работ, сообщить им статус трансцендентных, неподвластных времени объектов, но мы-то знаем, что за этим стоят скрытые социальные силы, поддерживающие существование науки как социального института.

Поиск скрытых социальных сил, стоящих за исследуемым предметом и определяющих его подлинную (т.е. социальную) сущность — это визитная карточка социологии, отличительная черта социологического рассуждения. Социологизм, укорененный в социологическом мышлении, позволил утвердиться в социологии *замкнутой модели классичности*.

Основанием такого «замыкания» послужил дюркгеймовский императив «объяснения социального социальным». Можно предположить, что «замыкание» модели классичности, которое мы наблюдаем в социологии, не уникально — существуют и иные разновидности этого спосо-

¹¹ Латур Б. Когда вещи дают сдачи: возможный вклад «исследований науки» в общественные науки: Пер. с фр. О. Столяровой // Вестник МГУ. «Философия». 2003. № 3.

ба рассуждения. Проведем мысленный эксперимент и представим, что могла бы представлять собой замкнутая модель классичности в смежной дисциплине — психологии.

3. Несостоятельность замкнутых моделей классичности: психологизм

В первую очередь нам пришлось бы допустить — в качестве аксиомы дальнейшего анализа — «психическую природу классики психологии» (аналогично социологистскому тезису о социальной природе классики социологической). Соответственно, взгляд исследователя, направленный на классические психологические труды, должен обнаруживать в них проявления психологических особенностей автора, порождение выдающегося разума, сформировавшегося, очевидно, в процессе особого, нестандартного воспитания или специфических обстоятельств жизни. Именно этими факторами — воспитанием, детскими переживаниями, особенностями мышления и памяти классика, его семейными отношениями, неврозами, комплексами, характером и темпераментом — должны объясняться не только созданные им классические тексты, но и его собственная персональная классичность. Таково требование последовательного психологизма («объяснение психического психическим»), мыслимого здесь по аналогии с социологизмом.

Если две эти аксиомы принимаются в качестве исходных посылок, если классика включается в реестр «психически детерминированных феноменов» и подлежит психологическому объяснению, то ничего не стоит «объяснить» классичность Фрейда его незаурядным талантом, а талант — патологической тревожностью и невротическими комплексами. Подобные суждения весьма распространены¹², впрочем, есть и более изощренные примеры психологистской логики в анализе психологической классики.

¹² Яркой иллюстрацией подобной психолого-исследовательской установки является работа Л. Шертока и Р. де Соссюра «Рождение психоаналитика». В ней увлеченность Фрейда психологией становится неотличимой от увлеченности его Анной О., научные контакты с доктором Брейером — от их личных взаимоотношений. Характерный пассаж: «...он изучал гистологию мозга, но история Анны О. побудила его заняться психологией... Фрейд находился под сильным впечатлением от истории Анны О. и чувствовал, по-видимому, насколько интересной она может оказаться в научном отношении. Возможно также, что в силу его личного “сексуального темперамента” эта история в каком-то смысле “пленяла” его. Извест-

Так, бурное развитие объективистской психологии в начале XX в., способствовавшее утверждению образа психологии как «экспериментальной науки о поведении», традиционно связывается с классической концепцией бихевиоризма и именем Джона Уотсона. Классичность теории Уотсона может быть легко объяснена психологически. Дело тут даже не в образе «человека-механизма», который бихевиоризм сделал своей базовой метафорой и который оказался столь востребован в стремительно индустриализующемся американском обществе (подобный тезис сформулировал бы социолог), а в личности самого Уотсона.

Классичность Уотсона с психологической точки зрения объяснима его выдающимся характером:

«...он был умен, умел хорошо говорить, его мужественная красота и легендарное обаяние сделали его знаменитостью. Большую часть своей жизни он был на глазах у широкой публики и с удовольствием принимал знаки внимания. Его одежда всегда была элегантно и стильно. Он принимал участие в гонках на скоростных катерах. Он общался со сливками общества Нью-Йорка и гордился тем, что может на спор выпить больше, чем любой другой»¹³.

Следует добавить, что обращение Уотсона к объективным методам экспериментальных исследований поведения тоже находит психологическое объяснение — оно продиктовано его патологической неспособностью к самоанализу и интроспекции (ведущих исследовательских практиках того времени). Зоопсихология с ее экспериментальными методами была ему «характерологически» ближе: «Работая с животными, я чувствовал себя как дома, — писал Уотсон. — Изучая животных, я стоял ближе к биологии, я стоял обеими ногами на земле»¹⁴.

но, что Фрейд отличался суровыми моральными правилами. Пережив в шестнадцать лет первое и, несомненно, платоническое увлечение Гизеллой Флюсс, он, по видимому, до женитьбы не имел никаких любовных историй». В итоге Фрейд приходит в психологическую науку, движимый «мощными вытеснениями», и если бы не сублимация, одним классиком у психологии было бы меньше. См. Соссюр Р. де, Шерток Л. Рождение психоаналитика. От Месмера до Фрейда: Пер. с фр., вступ. ст. Н. С. Автономовой. М.: Прогресс, 1991. С. 99–101.

¹³ Buckley K. Mechanical man: John Broadus Watson and the beginnings of behaviorism. N.Y.: Guilford, 1989. P. 177. Цит. по: Шульц Д. П., Шульц С. Э. История современной психологии: Пер. с англ. СПб.: Евразия, 1998. С. 281.

¹⁴ Указ. соч. С. 275.

В отличие от стоящего обеими ногами на земле (в науке и жизни)¹⁵) классика-бихевиориста Джона Уотсона, классик психоанализа Карен Хорни росла невротичным ребенком — ее мать явно предпочитала ей старшего брата, которому «...Карен жестоко завидовала за то, что он мальчик. Отец часто унижал ее, пренебрежительно отзываясь о ее уме и наружности, вызывая чувства неполноценности, бесполезности и враждебности»¹⁶. Закономерно, что в основе разработанной Хорни психоаналитической концепции лежит понятие «базальной тревожности». Характер Хорни — если верить исследователям ее творчества¹⁷ — воплощает в себе все то, что психоанализ силился диагностировать в характере современного человека; в сообщество психоаналитиков К. Хорни вписалась так же легко, как ее концепция — в канон социально-психоаналитической классики.

Серия характерологических объяснений классичности может быть продолжена. Отдельные события биографии классика — столкновение с великим мыслителем (Г. Олпорт), роман с замужней женщиной (Г. Мюррей), годы, потраченные на изобретение вечного двигателя (Б.Ф. Скиннер), участие в военных действиях (К. Левин) — обладают немалым объяснительным потенциалом.

Апелляции к личным особенностям классика в объяснении его классичности — элемент распространенного среди психологов профессионального мифа о патологической природе психологического гения. Этот миф позволяет всю историю психологии представить как парад сменяющих друг друга диагнозов, а классический канон — как череду биографических обстоятельств. (Именно так он представлен в цитированном выше учебнике Д. и С. Шульц «История современной психологии»: описания характерологических особенностей классиков и событий их биографий занимают более половины книги.)

Однако вряд ли кто-то из читателей всерьез воспринял приведенный выше аргумент: «основание классичности — личная гениальность автора, истоки классики следует искать в характере классиков». Ма-

¹⁵ Примечание «...в науке и жизни» характерно для психологического рассуждения так же, как социологическому анализу свойственны ссылки на «*атмосферу того времени*». Указание на единство «науки и жизни» призвано подчеркнуть неразрывную связь личности классика и результата его трудов.

¹⁶ Шульц Д.П., Шульц С.Э. Указ. соч. С. 452.

¹⁷ Яркий пример см.: Sayers J. Mothers of Psychoanalysis: Helene Deutsch, Karen Horney, Anna Freud, Melanie Klein. N.Y.: Norton, 1991.

шиноподобная гениальность классика-бихевиориста Уотсона и невротичная гениальность классика-психоаналитика Хорни смакуются исследователями их творчества и нередко отмечаются на страницах учебников, но практически не претендуют на роль полноценных факторов объяснения их классичности.

Почему же то, что в одном случае воспринимается как забавный профессиональный миф (учебник Д. и С. Шульц остается скорее исключением, нежели правилом), в другом становится доминирующей логикой рассуждения о классике? Почему психологизм кажется крайне неубедительным способом аргументации (вряд ли бихевиористская теория завоевала ведущие позиции в американской науке благодаря личному обаянию Уотсона), а социологизм остается естественной для социологии науки исследовательской оптикой? Почему работа «Социология философий» Р. Коллинза признается фундаментальным трудом по социологии знания, но трудно даже представить себе сегодня работу с названием «Психология философий» (хотя такие труды легко найти в анналах психологической науки)¹⁸.

Содержательных различий между социологизмом и психологизмом в анализе классичности гораздо меньше, чем сходств. В одном случае природа классики помещается в контекст «социальных структур», «институтов», «легитимаций» и «рецепций», а в другом — в контекст «характерологических особенностей», «биографий» и «способностей». И психологистская, и социологистская аргументация строятся от обстоятельств: либо от биографических обстоятельств жизни автора-классика, либо от социальных обстоятельств рецепции его работ.

Отметим еще одно сходство. Так же, как и социологизм, психологизм *экспансивен*: он не делает различий между классичностью в науке, литературе, кинематографе или живописи. Тем самым стирается граница между наукой и иными формами творческой человеческой деятельности. И наука, и искусство — лишь «подмости», где находит свое выражение персональный гений классиков. Классичность в науке и искусстве должна подчиняться одинаково жестким требованиям характерологических описаний. Вот классический пример психологистского описания классика:

¹⁸ Укажем лишь на один такой пример — классическое исследование К. Юнга психологии восточных философий: Юнг К.-Г. О психологии восточных философий и медитаций / Сост. В. Бакусев. М.: Медиум, 1994.

«...он был высок, строен, прекрасен лицом и необыкновенной физической силы, обворожителен в обращении с людьми, хороший оратор, веселый и приветливый. Он и в предметах его окружающих любил красоту, носил с удовольствием блестящие одежды и ценил утонченные удовольствия».

Звучит как несколько архаичный перифраз приводившегося выше пассажа о Джоне Уотсоне: упоминание элегантной одежды, мужественной красоты и незаурядных способностей. Однако этот фрагмент посвящен Леонардо да Винчи и взят он с первых страниц известной работы З. Фрейда¹⁹.

Дальнейшее сопоставление двух текстов — цитировавшейся работы К. Бакли о Дж. Уотсоне и работы З. Фрейда о да Винчи — обнаруживает множество сходных движений мысли и аналогичных умозаключений. Так, если Уотсон, по версии Бакли, отказался от интроспекции, потому что был психологически не способен к самонаблюдению, то Леонардо

«не мог сродниться с рисованием *al fresco*, которое требовало быстроты работы, пока еще не высох грунт; поэтому он избрал масляные краски, высыхание которых давало ему возможность затягивать окончание картины, считаясь с настроением и не торопясь»²⁰.

Причина подобных совпадений — отнюдь не в хорошем знании психоаналитической теории современными историками психологии, а в воспроизведении заложенной Фрейдом психологической схемы анализа применительно к самой психологической науке. Как мы попытаемся показать далее, знание источника не обязательно для развернутого и почти рефлекторного использования подобных схем в исследовательской практике.

Автор-психологист не делает различий в изучении классичности Леонардо да Винчи или Джона Уотсона: классичность объясняется незаурядностью индивидуальных психологических особенностей, а специфика творческого наследия — особенностями характера. Впрочем, чем это принципиально отличается от социологической экспансии?

¹⁹ Фрейд З. Психоаналитические этюды / Сост. Д. И. Донской, В. Ф. Круглянский. Мн.: Попурри, 1997. С. 371.

²⁰ Указ. соч. С. 374.

И наука, и искусство интересуют исследователя-социолога, прежде всего, как социальные институты, нуждающиеся в классиках для поддержания и упорядочивания своего существования. В институтах различаются способы, которыми конструируется и утверждается классичность, но реальность подобных способов находится за гранью сомнения, в противном случае социолог утрачивает свой специфический предмет изучения. Б. В. Дубин в тезисах о «стратегиях легитимации культурного авторитета» замечает:

«Важно с самого начала подчеркнуть, что авторитетом назначают, что его конструируют — “короля играет свита”. Моя задача — не историческая, а социологическая. Для меня дело не в “самых” текстах, а в институтах, задающих, поддерживающих и тиражирующих их значение в качестве символических посредников социальной коммуникации»²¹.

Речь в работе Б. В. Дубина идет о текстах литературных, но ничего не мешает произвести рефокусировку и аналогичным образом рассмотреть «стратегии легитимации научного авторитета». Замена слова «культурный» словом «научный» («политический»? «религиозный»? «военный»?) ничего не меняет в самом способе рассуждения: стратегии легитимации будут описаны разные, но это будут именно стратегии легитимации.

Всякая редукция, аналогичная социологическому или психологическому способам рассуждения, в исследованиях науки неудовлетворительна, поскольку подчиняет классичность «внешним» факторам детерминации — будь то «социальное бытование идей» или «психотип автора». Это экстернализация классики. Однако неудовлетворительной в социологизме оказывается не только экстермальность. Вряд ли интерналистская перспектива анализа, — в которой причины классикализации того или иного автора атрибутируются исключительно содержанию его трудов — окажется достойной альтернативой социологизму.

Несостоятельной нам представляется любая *замкнутая модель классичности*, постулирующая: «Классика — это X, X должно объяс-

²¹ Дубин Б. В. Классик — Звезда — Модное имя — Культовая фигура: о стратегиях легитимации культурного авторитета // Тезисы сообщения на круглом столе «Литературный культ. Механизмы его формирования и бытования в современном культурном пространстве» (Москва, 21 ноября 2005 г.). Я бесконечно признателен Б. В. Дубину и коллегам из Института гуманитарных историко-теоретических исследований за обсуждение представленных в настоящей статье соображений о природе «неудобной классики». Без этой дискуссии мои представления о социологизме остались бы неполными, а сама статья — незавершенной.

няться через X». Подобная «петля в объяснении» исключает какую бы то ни было возможность построения «моста» между миром идей и миром их социального обращения. Однако прежде чем перейти к обоснованию необходимости такого «моста», следует вернуть в спор о классике содержание классических работ, отвлечься от обстоятельств рецепции, трансцендировать социологизм. Одним словом, нужно вернуться к «самим» текстам».

Для этого необходима иная — *социологическая, но не социологистская* — логика анализа классического наследия. И, следовательно, другая — *консистентная, но не замкнутая* — модель классичности.

4. Логика репрезентации

До определенной степени альтернативой логике рецепции является *логика репрезентации*. Если социологизм акцентирует «социальное происхождение» классики, то логика репрезентации подчеркивает знаковую, репрезентативную ее природу. Описывая различные аспекты классичности, немецкий историк К. Кенке сформулировал основной тезис этой логики следующим образом:

«Подлинная классичность состоит, быть может, в том, что некоторому лицу и его произведениям сообщается как бы надындивидуальное значение, так что этот человек оказывается одновременно типом и репрезентантом чего-либо, но при этом ничуть не теряет своей личной значимости»²².

Утверждая, что имя классика в повседневном обиходе науки есть «знак», мы указываем на связь этого имени с некоторым комплексом идей, включенных в корпус наличного знания социологического теоретизирования, а также с другими именами. Наличное знание (knowledge in hand) означает в данном случае знание непроблематичное, очевидное. Это «общие места» социологического рассуждения. Чем очевиднее и непроблематичнее такое знание — тем авторитетнее классик. Поэтому «исследователи» (те, кого Дж. Александер называет «practitioners») редко читают и перечитывают авторитетного классика. Его концепты не требуют дополнительного переосмысления и новой операционализации, они уже составляют общее место рассуждения.

²² Köhnke K. Der junge Simmel in Theoriebeziehungen und sozialen Bewegungen. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1996. S. 15.

Этот парадокс частично объясняет то, каким образом значительная часть советского социологического сообщества, не читая Парсонса, оказалась в числе правоверных парсонсианцев. Имя Парсонса не только репрезентировало привычные понятия «социальной стратификации», «институтов», «систем» и «функций», но «...было олицетворением социологии как таковой» (А. Ф. Филиппов). Аналогичным образом дело обстоит со многими классическими ходами мысли, включенными в запас наличного знания социологического рассуждения: «классоцентричные» объяснительные модели формулируют те, кто никогда не читал Маркса, к ценностно-рациональной мотивации экономического поведения апеллируют те, кто никогда не читал Вебера. Знание первоисточников не требуется для развития заложенных в них тезисов, если тезисы эти уже пущены в «обращение» и обладают высокой «ликвидностью» в регулярных научных коммуникациях.

Классик в повседневном обиходе оказывается не создателем, а репрезентантом определенной совокупности теоретических установок, догматических интенций, фундаментальных различений, моделей рассуждения, типов используемых данных и методов работы с ними. Имя классика может выступать и в качестве *символа* (тогда имеет место отсылка к «надындивидуальному значению», о котором пишет Кенке), и в качестве *индекса* (и тогда это ассоциативная связь: говорим «Мосс» — подразумеваем «Дюркгейм»).

5. «Удобство» классики

Не задаваясь пока вопросом о причинах установления такой репрезентативности, попытаемся выделить необходимый минимум связей, которые обеспечивают имени классика непроблематичное хождение в мире социологического дискурса.

Поддержание «классической репрезентативности» зависит от трех типов связей. Во-первых, от *внутренней согласованности*. Создателям теоретических систем, в которых каждое понятие связано с каждым другим, схема рассуждений ясна и непротиворечива, а аргументация выстроена по правилам формальной логики (Э. Дюркгейм), проще войти в пантеон классиков, нежели выдающимся эмпирикам, добившимся заметных результатов в наблюдении социальной реальности, но не выстроившим с использованием этого материала никакой фундаментальной теоретической конструкции (П. Лазарсфельд).

Во-вторых, «классическая репрезентативность» зависит от *внешней согласованности* — т.е. от встроенности предложенного теоретичес-

кого аппарата в корпус социологического знания и, что особенно важно, от его согласованности с аксиоматическим ядром дисциплины. Так, теоретические конструкции М. Вебера, Т. Парсонса и К. Маркса до сих пор успешно применяются в исследованиях социальной стратификации. При том, что предлагаемые в этих подходах интерпретации исследуемого предмета противоположны и взаимоисключающи, ни один из них не подвергает сомнению основную аксиому стратификационных изысканий — существование социального неравенства как такового.

Не меньшее значение имеет третий тип связи — связи хорошо распознаваемого и встроенного в корпус социологии комплекса идей с *именем* классика. Имена «Дюркгейм», «Вебер», «Парсонс» становятся маркерами теоретических комплексов «социологизм», «понимающая социология», «структурный функционализм» и ассоциированных с ними построений. Эта связь делает излишним чтение самих классиков, их имена лишь маркируют общие места в научной дискуссии.

Наличие всех трех типов связности (внутренней, внешней и ассоциативной) делает автора той или иной концепции «удобным» классиком. Его имя недвусмысленно отсылает к определенной логике рассуждения, сама эта логика внятно распознается на фоне иных теоретических конструкций, и что не менее важно — не возникает противоречия между данной логикой и фундаментальными аксиомами социологического мышления.

Напротив, признание классическими работ, не удовлетворяющих этим условиям, создает неудобства для их интерпретации: невозможность идентификации всех идейных источников и задействованных теоретических ресурсов, разрозненность и фрагментарность исследований, трудности развития тезисов, не соотношенных с традиционной аксиоматикой. Таковы отличительные черты неудобной классики.

6. Неудобная классика и наследие Ирвинга Гофмана

Существование неудобной классики бросает вызов истории дисциплины, затрудняя классификации «парадигм» и «подходов». По сей день неудобная классика остается слепым пятном метатеоретизирования, не вписываясь в конвенциональные бинарные оппозиции (реализм/номинализм, объективизм/субъективизм и т.д.). Она стоит в стороне от процесса накопления научного знания, каким он описывается, например, в концепции Т. Куна: неудобная классика как таковая не опрокидывает прежних конвенций и ничего не предлагает взамен устоявшей-

ся картины мира. Ее предназначение — стимулирование социологического воображения, повышение чувствительности к тонким различиям (сенсбилизация науки), обозначение пределов социологического теоретизирования.

Именно поэтому неудобная классика не укладывается в различие «старого» и «нового» классического наследия. Для теоретической социологии Георг Зиммель (некогда записавший в своем дневнике: «Наследство, которое я оставляю, похоже на разменный чек; деньги распределены, и каждый вкладывает свою часть в то дело, которое соответствует его натуре, забывая, чем он обязан этому наследству»²³) так же удобен в качестве классика, как и Ирвинг Гофман — вероятно, самый противоречивый из современных теоретиков, вошедших в пантеон социологической классики.

...Практически все работы И. Гофмана, посвященные скрупулезным наблюдениям повседневных социальных взаимодействий, вызывали неоднозначную реакцию академического сообщества. Основной вопрос разгоравшихся споров — можно ли считать Гофмана социологом и если да, то является ли его подход, «балансирующий на грани между публицистикой, философией и этнографией», органической частью социологической традиции?

В 1972 г. в одном из обзоров «New York Times Book Review» Гофман был назван «самым видным из ныне живущих писателей», имеющим наибольшие основания называться «Кафкой нашего времени». Другой рецензент из «The Sociological Quarterly» утверждал, что Гофман «просто сочиняет романы, в которых гротеск переводится на уровень китча». Сходным образом Клиффорд Гирц отнес теорию Гофмана к «мутным жанрам» общественной мысли, которая более не полагает концептуальную ясность своим идеалом. Эксцентричный стиль гофмановского повествования привел к росту популярности Гофмана-писателя, но поставил под сомнение научность его концепции.

По сути, подозрения в «несоциологичности» с Гофмана были сняты только к моменту избрания его на пост президента Американской социологической ассоциации в 1981 г. (Хотя и после этого теоретическим построениям социальной драматургии нередко отказывали в праве называться теоретическими.) Сам Гофман старательно уклонялся от навешивания на его теорию легко распознаваемых «ярлыков» и относил свои работы поочередно к «городской этнографии Эверета Хьюза»

²³ Georg Simmel, 1858—1918 / Ed. by K. H. Wolff. Columbus, 1958. P. 195.

и «социальной психологии Джорджа Герберта Мида», периодически заявляя о приверженности символическому интеракционизму, структурному функционализму, чикагской традиции и теории игр. Описав и проанализировав процесс «лейблинга» (навешивания «ярлыков») в повседневной социальной жизни, он отказывался давать определения своему подходу, опасаясь стать жертвой «лейблинга» в повседневном обиходе науки. Почитатели и биографы после смерти Гофмана с пригорбией констатировали, что «никакой “-изм” или “-логия” не связаны с его именем».

Таким образом, теоретические построения Гофмана оказались лишены тех устойчивых связей, которые позволили бы говорить о бесспорной классичности их автора. Самое очевидное: отсутствие *ассоциативной связи* между именем Гофмана и теми яркими, но разрозненными концептуализациями повседневной социальной жизни, которые сегодня становятся общими местами социологического теоретизирования. Понятия «стигмы», «тотального института», «фрейма» находят широкое применение в теоретических изысканиях, но не отсылают к имени Гофмана, не репрезентируют его классичность.

Вторая «несогласованность» — теоретические построения Гофмана с трудом допускают *возведение к аксиоматическим основаниям социальной науки*. Гофман сознательно превращает аксиомы в проблемы, подвергает сомнению то, что для блага дисциплины должно находиться «вне подозрений». Так, в картине мира, нарисованной Гофманом, люди руководствуются отнюдь не стремлением к достижению собственных целей и не вбитыми в них социализацией императивами, а легкомысленным желанием произвести хорошее впечатление на других (так называемая «экспрессивная интенция» социального действия). Социолог может допустить, что человек по природе своей корыстен или, напротив, альтруистичен, добр или зол, рефлексивен или запрограммирован воспитанием — и ни одно из этих априорных предположений не помешает построить собственно социологическую теорию, потому что каждый из этих выборов встроен в одну из традиционных логик понимания социальной жизни. Однако утверждение идеи «производства впечатлений» как основания общественного порядка не вписывается в ряд аксиом социологического мышления.

Впрочем, и само существование общественного порядка проблематизируется Гофманом. Если для столь разных авторов как О. Конт, Э. Дюркгейм, К. Маркс, Т. Парсонс, П. Бурдьё признание социального порядка представляет собой отправную точку анализа, то для И. Гоф-

мана наличие «Общества» — искомое решение, а не условие задачи. Задача же состоит в том, чтобы найти в кажущемся хаосе повседневных взаимодействий *основания* этого порядка. «Общество» со всеми его «институтами», «системами деятельности» и «социетальными структурами» более ничего не объясняет, оно само должно быть объяснено в перспективе реальности повседневного мира.

Наконец, третья отличительная характеристика творческого наследия Гофмана — *«внутренняя несогласованность»* его работ. Теоретические построения Гофмана не образуют в своей совокупности никакой стройной системы. Концептуальные различия привлекаются им из антропологии, лингвистики, психологии, этологии, теории музыки, театрального искусства и кинематографа для описания частных случаев повседневных интеракций.

В то же время есть очевидная связь между «внутренней несогласованностью», «гипертрофированным вниманием к частностям» и тем, что используемые Гофманом теоретические различия не являются исконно социологическими. Подобный эклектичный, на первый взгляд, импорт концептов обуславливает одно из самых серьезных неудобств использования результатов гофмановских исследований в последующих теоретических изысканиях. Развитие отдельных, предложенных Гофманом тем, с опорой на его же концептуальный аппарат, приводит к загадочной «миграции» понятий: импортированные из некоторой смежной области, обогащенные теоретическими ресурсами социологии, они обнаруживают тенденцию к экспорту в другие дисциплины.

Например, понятие «фрейма», заимствованное из теории коммуникации психолога Г. Бейтсона, экспортируется затем в когнитивно-ориентированные исследования речевого поведения, когнитивную психологию и когнитивную лингвистику (Р. Шэнк и Р. Эбельсон). Комплекс понятий «стратегического взаимодействия», разработанных И. Гофманом с привлечением аппарата теории игр, возвращается в экономические работы, под влиянием которых и был некогда создан (Т. Шеллинг). Концепты, закрепленные Гофманом в языке социологии, пролиферируют, не только переключившись в области своего прежнего обитания, но захватывая новые ареалы в лингвистике, психологии, когнитивистике. Даже те понятия гофмановской теории, которые не покидают границ социологической дисциплины, более всего оказываются востребованными в «приграничных» областях: концепция «стигмы» становится теоретическим ресурсом социологии этничности, понятие «тотального института» (не без влияния М. Фуко) закрепляется в исследо-

ваниях пенитенциарных систем, идеи фрейм-анализа активно используются в социологии времени (Э. Зерубавель) и анализе разговоров (Э. Шеглофф).

Такая «мобильность концептов» гофмановской теории, их частая миграция между дисциплинарными и предметными областями, заставляет вспомнить правило, некогда сформулированное Гофманом применительно к организации повседневной жизни: *наибольшим потенциалом трансформации обладают те формы взаимодействия, которые сами являются результатами трансформации*²⁴. Социологам повседневности это правило позволяет понять, почему превращению, моделированию и симулированию чаще подвергаются уже «превращенные» формы активности.

Так, спортивным состязанием скорее станет бег или бокс (трансформация «погоны» и «драки»), нежели мытье посуды. В компьютерной игре с большей вероятностью будет смоделирована гонка «Формулы-1» или битва из «Звездных войн», а не переход улицы на зеленый сигнал светофора. В студенческих капустниках чаще обыгрываются ритуализованные элементы учебы (общение с преподавателем на экзамене) и значимая атрибутика (зачетная книжка, диплом), нежели обыденное содержание студенческой жизни (конспектирование лекций). Эти разновидности трансформации Гофман называет «переключениями». Там, где уже имеет место переключение, повторная трансформация более вероятна. Применительно к научной коммуникации данное правило означает: те концепты, которые не являются «исконно социологическими», а заимствованы из других «словарей описания» — например, из словаря обыденной речи или из словаря других дисциплин — более подвержены пролиферации (расширению «ареала» использования), становясь предметом последующих трансформаций. Почему? На примере терминологического импорта в работах Гофмана можно попытаться проследить истоки этого аспекта неудобной классичности.

7. Метафорическая концептуализация: переключение «переключения»

Наша гипотеза состоит в том, что причина описанной выше «мобильности концептов» в работах неудобного классика кроется в механизме

²⁴ Гофман И. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта / Под ред. Г. С. Батыгина и Л. А. Козловой; вступ. статья Г. С. Батыгина. М.: Институт социологии РАН, 2003. С. 140—142.

метафорической концептуализации — используемые классиком понятия приобретают терминологическую нагрузку за счет метафорического соотнесения с понятиями из других «словарей». Так, категориальный аппарат социальной драматургии, изложенный в первой книге И. Гофмана «Представление себя другим в повседневной жизни», выстроен на фундаменте театральной метафоры. Благодаря этой работе понятия «исполнения», «реквизита», «труппы», «переднего и заднего плана», «веры в исполняемую партию», «выхода из роли» стали инструментами социологического анализа повседневного «управления впечатлениями» (impression management). В других работах (например, в популярной статье «Там, где действие») Гофман активно эксплуатирует метафорику азартных игр, встраивая в свою аналитическую схему концепты: «ставка», «шанс», «пари», «джек-пот», «блеф»²⁵. В дополнение к этому во всех своих текстах Гофман активно заимствует слова обыденного языка, отчего теоретическими концептами становятся понятия «лицо» (face), «притворство» (make-believe), «жертва» (mark), «прикид» (put-on), «манера» (demeanor) и т.д.

В итоге уличные мошенничества, театральные представления и азартные игры оказываются не только (и, может быть, не столько) предметом исследований Гофмана, но источниками метафор, задающих наше видение повседневной социальной жизни, конституирующих оптику ее изучения. Поэтому, вероятно, следует сделать поправку к приведенному выше поспешному выводу: не «концептуальные различия привлекаются им из антропологии, лингвистики, теории музыки и кинематографа для описания частных случаев повседневных интеракций», а изучение частных случаев повседневных интеракций позволяет Гофману предложить метафоры, развить которые можно лишь с привлечением концептуальных различий из перечисленных областей. Например, обращение Гофмана к категориальному аппарату теории игр было стимулировано серией наблюдений, проведенных им в казино Лас-Вегаса. Именно метафора — в данном случае метафора «повседневная жизнь как азартная игра» — становится каналом терминологического импорта.

Всякий терминологический импорт представляет собой перевод из одной области значений в другую. И неудобный классик — это плохой переводчик, не находящий (или не ищущий) нужных слов в языке социологии, прибегающий к «кальке», тем самым обогащая (или засо-

²⁵ Goffman E. Where the action is // Interaction Ritual: An Analysis of Ritual Elements in Social Interaction. N.Y.: Doubleday Anchor, 1967.

ряя) социологический словарь. Только что мы использовали весьма затертую метафору «перевода» для прояснения смысла терминологического импорта в текстах неудобного классика. Гофман предпочел бы уже приводившееся нами понятие «переключение». В повседневной жизни переключение обнаруживает себя в том, как погоня становится бегом, охота — спортом, война — учениями, учения — документальным фильмом об учениях, фильм — компьютерной игрой, игра — демонстрацией игры, а демонстрация игры — кульминацией выставки компьютерных новинок. Терминологический импорт в работах неудобного классика — тоже переключение, т.е. перенесение концепта из одной контекстуализирующей его системы координат (по Гофману, «системы фреймов») в другую. Говоря это, мы сами предпринимаем попытку переключения, переключаем концепт «переключение» из словаря гофмановской социологии повседневности в словарь социологии науки.

Впрочем, мы уже проделали нечто подобное выше, когда сформулированное Гофманом правило *«наибольшим потенциалом трансформации обладают те формы взаимодействия, которые сами являются результатами трансформации»* перевели как «концепты, которые заимствованы из других “словарей описания”, более подвержены пролиферации и чаще становятся предметом последующих трансформаций». Таким образом, мы подвергли «последующей трансформации» (переключению) концепт «переключение». Именно последующей, потому что этот концепт уже является результатом переключения — он заимствуется Гофманом из словаря теории музыки. Музыкальным «прототипом» переключения является понятие «транспонирование»: перевод музыкальной фразы из одной тональности в другую²⁶.

Итак, концепт «переключение» закрепляется в словаре социологии повседневности благодаря переключению, совершенному Гофманом. Другое транспонированное им понятие, укоренившееся в социологическом дискурсе посредством метафорической концептуализации, — *«фрейм»*. Это прямое заимствование не из когнитивистики (книга Гофмана «Анализ фреймов» и известная работа Мервина Минского «Фреймы для представления знаний» выходят в один год и совершенно независимо друг от друга), а из работ психолога Г. Бейтсона и из обыденного языка.

«Frame» — каркас, скелет, рама, оправа, форма, стойка, остов, формат. В обобщенном смысле — «контекст». Переводчик книги на фран-

²⁶ См.: Гофман И. Указ. соч. С. 104—105.

цузский язык небезосновательно перевел «фрейм» как «кадр», видимо, приняв во внимание тот факт, что Гофман — работавший в Канадском национальном кинокомитете — строит свою концепцию с многочисленными заимствованиями из теории кино, активно цитирует В. Пудовкина, Б. Балаша, Б. Успенского. Таким образом, прочтение фрейм-анализа через призму кинематографической метафоры обоснованно, но оно отнюдь не является единственно верным.

Дело в том, что Грегори Бейтсон, на лекциях которого Гофман впервые слышит слово «фрейм», также вводит это понятие в исследования коммуникации посредством метафоры; причем, метафоры, одновременно отсылающей к сферам визуального и логического. В работе «Теория игры и фантазии» он предлагает использовать два вида аналогий для последующего метафорического описания фрейма: аналогию рамы картины и аналогию математического множества. «Первый шаг к определению фрейма, — пишет Бейтсон, — может состоять в высказывании, что он (фрейм) является классом или ограничивает класс (множество) сообщений (осмысленных действий). Тогда игра двух индивидуумов при определенных обстоятельствах будет определяться как множество всех сообщений, которыми они обменялись за ограниченный период времени... В теоретико-множественной схеме эти сообщения будут представляться точками, а “множество” может очерчиваться линией, отделяющей их от других точек, представляющих неигровые сообщения»²⁷.

Если по обе стороны «границы» находятся сообщения одного «логического типа» (здесь Бейтсон апеллирует к категориальному аппарату теории логических типов Рассела), то речь идет о партикулярном фрейме (например, «игра в догонялки двух детей»); если же границы фрейма совпадают с границами логического типа и, например, множество игровых сообщений отделяется от множества неигровых — значит, перед нами пример метаконтекста или фреймовой системы («игра»).

Проблема здесь состоит в том, что аналогия, заимствованная из теории множеств, чрезмерно абстрактна и неизменно заводит все последующие рассуждения в область формальной логики. Она не дает представления о фрейме как о «реально существующем» контексте. Фрейм настолько реален, насколько распознается участниками взаимодействия или аналитиком. Подтверждением «распознаваемости» фрейма для Бейт-

²⁷ Бейтсон Г. Экология разума. Избранные статьи по антропологии, психиатрии, эпистемологии: Пер. с англ. М.: Смысл, 2000. С. 214.

сона служит наличие соответствующих понятий в словаре: «игра», «фильм», «работа», «интервью» — все они отсылают к тому или иному множеству контекстуально организованных действий.

Другой предложенный Бейтсоном способ метафорического описания фрейма — его сравнение с рамой картины. Рама разделяет две области значений: мир повседневности и мир изображенной художественной реальности. Однако Бейтсон приходит к выводу о неудовлетворительности и такого сопоставления: «если аналогия с математическим множеством, возможно, чрезмерно абстрактна, то аналогия с рамой картины чересчур конкретна. Концепт, который мы стараемся определить, не является ни физическим, ни логическим»²⁸.

Бейтсон прибегает к метафорической концептуализации фрейма именно потому, что не может подобрать ему однозначного определения в языке психологии. Парадокс: концепт, который он пытается определить, действительно не является ни физическим, ни логическим, но без физической и логической аналогии он не может быть внятно определен как психологическое понятие. Это опять же переключение, транспонирование непсихологического концепта в психологическую теорию, пример метафорической концептуализации.

Гофман, заимствуя понятие «фрейма», производит переключение следующего порядка. Он сохраняет обе коннотации — и с рамой картины (в большей степени), и с математическим множеством (в меньшей), усиливая многозначность концепта постоянными отсылками к повседневным значениям слова «фрейм». К двусмысленности бейтсоновских определений Гофман добавляет возможность кинематографического прочтения («фрейм как кадр»), повседневного понимания («в *формате* свободной дискуссии», «выйти *за рамки* приличий») и философско-структуралистских интерпретаций («фрейм как устойчивая структура социальной жизни» или «структура самого духа», если воспользоваться выражением Леви-Стросса). В разных контекстах Гофман определяет его то как «матрицу возможных событий» повседневного мира, то как «схему интерпретации» этих событий наблюдателем.

В итоге «фрейм» оказывается обреченным на пролиферацию. Так, бывшие студенты Гофмана Харви Сакс и Эвиатар Зерубавель, развивая собственные теории, заимствовали понятие фрейма и — словно в подтверждение гофмановского тезиса о высоком потенциале переключаемости всего ранее переключенного — произвели его метафорическую

²⁸ Бейтсон Г. Указ. соч. С. 215

реконцептуализацию. У Сакса, воспринявшего одно из гофмановских определений фрейма («фрейм как матрица событий»), это понятие стало инструментом анализа порядков речевого взаимодействия²⁹. У Зерубавеля, усвоившего другое определение («фрейм как интерпретативная схема»), оно превратилось в «чисто ментальное образование», социальную детерминанту восприятия³⁰. Первая концептуализация, по всей видимости, чрезмерно конкретна, вторая — чрезмерно абстрактна.

Но как согласуются все эти метафоры фрейма в языке социологии повседневности Гофмана? И как метафоры фрейма согласуются с десятком других метафор, посредством которых в теорию фрейм-анализа проникает юридическая, шахматная, анимационная и криптографическая терминология, выражения секретных агентов, дипломатов, крупье и уличных аферистов? Гофман не задается этим вопросом.

Здесь мы вплотную подходим к пониманию того, как связаны терминологический импорт, метафорическая концептуализация и «внутренняя несогласованность» работ неудобного классика. Дело не в том, что неудобный классик чаще прочих прибегает к метафоре в своем теоретизировании, а в том, что используемые им метафоры *совместимы*, но не *согласованы*.

Совместимость — это способность формировать общий образ. Например, теоретические метафоры «фрейм как кадр» и «переключение как транспонирование» совместимы, они позволяют лучше понять перенесение некоторых повседневных взаимодействий в иную систему координат, где эти взаимодействия иначе «кадрируются», «монтируются» и, в итоге, перестают быть повседневными. В то же время две эти метафоры несогласованы — они не соотнесены с более общим концептом. Поэтому у неудобного классика Ирвинга Гофмана нет своей «большой базовой метафоры», которыми изобилует социологический дискурс: «общество как организм», «общество как система», «общество как конструкция», «социальная жизнь как конфликт», «социальная жизнь как текст» и т.д.³¹ Используемые им концепты не отсылают друг к другу, потому что встроены в разные метафорические ряды. Они отсы-

²⁹ Sacks H. On the Analyzability of Stories by Children // Ethnomethodology / Ed. by R. Turner. Harmondsworth: Penguin, 1972.

³⁰ Zerubavel E. The Fine Line: Boundaries and Distinctions in Everyday Life. N.Y.: Free Press, 1991.

³¹ Исключение здесь составляет первая книга Гофмана «Представление себя другим», где последовательно разворачивается театральная драматургическая метафора («социальное взаимодействие как театральное представление»).

лают не друг к другу, а к иным концептам и доконцептуальным интуициям, которые локализованы «за гранью» собственно социологической коммуникации и становятся доступны социологическому рассуждению только благодаря метафорам. Это крайне неудобные концепты.

Метафорическая концептуализация отчасти позволяет увидеть истоки «миграции понятий» гофмановской социологии, частое пересечение ими границ предметных и дисциплинарных областей. Отсюда некоторая «маргинальность» неудобной классики: метафорическая концептуализация имеет вид «X как Y», где собственно социологическим предметом, требующим осмысления, является «X», а «Y», благодаря которому «X» становится доступным социологическому исследованию, не принадлежит множеству социологических концептов. Отсюда смещение внимания — уход в теорию игр («социальная жизнь как азартная игра»), в теорию кинематографа («социальная жизнь как совокупность скадрированных и смонтированных отрезков деятельности»), в театральное искусство («социальная жизнь как управление впечатлениями») и т.д. Возможно, поэтому неудобная классика вызывает сомнения не только в классичности автора, но и в его дисциплинарной принадлежности.

8. Неудобная классика как теоретический ресурс: стратегии прочтения

Выше мы описали три типа связей, наличие которых делает классика «удобным», а отсутствие — создает ряд специфических неудобств в повседневном обиходе науки: имя неудобного классика не отсылает к предложенным им концептам, концепты не отсылают друг к другу и не репрезентируют традиционных стилей социологического мышления. Неудобного классика трудно назвать «ярким представителем» традиции, школы, направления или подхода. Неудобная классика — это классика без выраженной репрезентации.

Таким образом, неудобная классика социологии, игнорировать которую невозможно (уже в силу ее канонизации), а рассматривать в связи с другими классическими концепциями затруднительно, оказывается исключительно затратным теоретическим ресурсом. Ее использование ставит теоретика перед выбором: или встраивание неудобных работ в корпус социологического знания, запоздалое восстановление связи с той или иной традицией (а через нее — с аксиоматическим ядром дисциплины), или, напротив, сознательное революционизирова-

ние неудобной классики. В этом и состоят две основные стратегии прочтения работ неудобного автора: *революционизирование* и *ассимиляция*.

Революционизирование, как стратегия интерпретации неудобного наследия, связано с акцентированием его критического потенциала. Неудобная классика переживает ренессанс всякий раз, когда под сомнение ставится достигнутый прежде теоретический консенсус. Она оказывается источником новой метафорики, механизмом переосмысления всего классического наследия. Попытки революционизирования неоднократно предпринимались в отношении неудобных работ Г. Зиммеля³² и Дж. Г. Мида³³. Другим показательным в этом отношении примером является стремление Б. Латура преодолеть наследие классического социологизма, противопоставив ему работы неудобного классика социологии Г. Тарда (якобы, несправедливо вытесненного с социологического олимпа удобным классиком Э. Дюркгеймом³⁴).

Революционизирование — это всегда определенное насилие над текстами классика и, более того, над его образом в глазах потомков. Интерпретаторы настойчиво доказывают: «классик Z остался непонятым, потому что опередил свое время, в его работах скрыто знание, к принятию которого наука готова только сейчас, новое прочтение Z позволит отринуть укоренившиеся в социологическом мышлении ложные предпосылки». Так, Г. Зиммель становится «постмодернистом» (в силу последовательного релятивизма своей концепции), а Г. Тард (благодаря своей критике социологизма) — провозвестником нового теоретического консенсуса. При этом не только работам классика сообщается революционное звучание, но и сам классик предстает теперь перед нами как «человек вне времени», «пророк и провидец», скорее всего, непонятый современниками.

Неудобная классика все же дает интерпретаторам некоторые преимущества. Во-первых, у неудобных классиков нет прямых наследников (получив по завещанию разменный чек, не претендуют на фамильный особняк), а, следовательно, всякая новая трактовка потенциально истинна. Во-вторых, невстроенные в корпус социологического знания работы действительно могут стать точкой опоры для ревизии традици-

³² Weinstein M., Weinstein D. Postmodernized Simmel. L.: Rotledge, 1993.

³³ Joas H. Rollen- und Interaktionstheorien in der Sozialisationsforschung // Neues Handbuch der Sozialisationsforschung / K. Hurrelman, D. Ulich. Weinheim, 1991.

³⁴ Latour B. Gabriel Tarde and the end of the Social // The Social in Question / Ed. by P. Joyce. L.: Routledge, 1999.

онных социологических аксиом. Каким бы ни был критический потенциал неудобной классики, в ходе последующего революционирования он заметно прирастает.

9. Стратегия ассимилирующей интерпретации

Работы Ирвинга Гофмана крайне редко использовались в качестве инструмента теоретической ревизии и предмета революционирования³⁵. Чаще к ним применялась другая стратегия — стратегия *ассимиляции*. Ассимиляция предполагает «обустройство» неудобной классики, превращение ее в классику удобную. Для этого необходимо восстановление всех трех типов согласованности, упомянутых нами выше.

Прежде всего, от интерпретаторов-ассимиляторов требуется увязывание разрозненных работ в единую теоретическую схему. Применительно к исследованиям Гофмана такую попытку предпринял Э. Гидденс:

«Следует детально проанализировать и возразить некоторым неверным толкованиям Гофмана. Он настоятельно нуждается в защите от докучливых притязаний его поклонников. Зачастую Гофман воспринимается как идиосинкразический наблюдатель социальной жизни, чья чувствительность в отношении того, что мы называем практическим и дискурсивным сознанием, происходит скорее от комбинации высокого интеллекта и игривого стиля, нежели является производной согласованного подхода к социальному анализу. Это весьма обманчивая и неопределенная причина, по которой Гофман *в большинстве случаев* (курсив мой. — В. В.) не причисляется к разряду социальных теоретиков, заслуживающих особого внимания. В любом случае подчеркнем, что работы Гофмана представляются нам в высшей степени систематичными, и именно это серьезно определяет их интеллектуальное могущество»³⁶.

³⁵ Один из немногих примеров — апелляция А. Гоулднера к Гофману как к «предвестнику кризиса социологической науки». Другой пример: рассмотрение Пьером Бурдьё микросоциологической теории Гофмана в качестве вызова консервативному позитивизму академического истеблишмента (см.: Bourdieu P. Erving Goffman: Discoverer of the Infinitely Small // *Theory, Culture and Society*. 1983. Vol. 2. No. 1).

³⁶ Гидденс Э. Указ. соч. С. 123. Подробнее см.: Giddens A. Goffman as a Systematic Theorist // *Erving Goffman: Exploring the Interaction Order* / Ed. by P. Drew, A. Wotton. Cambridge: Polity Press, 1988.

Здесь есть любопытное противоречие, характерное в целом для всех попыток ассимиляции неудобной классики: с одной стороны, констатация интеллектуального могущества автора, с другой — акцентирование его социальной непризнанности коллегами. Назвать Ирвинга Гофмана «непризнанным» довольно трудно — он был одним из самых популярных авторов-социологов, чьи работы распродавались огромными тиражами, а также одним из самых высокооплачиваемых профессоров-социологов за всю историю Американской социологической ассоциации (президентом которой и стал в конце жизни). Но таково требование жанра ассимилирующей интерпретации: необходимо указать коллегам на ошибочность их истолкований («защитить от докучливых притязаний поклонников»), а уже затем привлечь внимание к «обновленному и дополненному Гофману», который теперь предстает в качестве систематического и последовательного — т.е. *удобного* — автора.

Вторая связь, которая должна быть восстановлена ассимилирующей интерпретацией — связь с классической традицией. Для этого сначала необходимо указать на зависимость неудобных работ от фундаментальных проблем дисциплины, а затем и от традиционных решений этих проблем, предложенных другими классиками.

Так, описанная нами выше идея экспрессивной интенции в работах Гофмана влечет за собой ряд неудобств в использовании — она плохо согласуется с фундаментальными социологическими аксиомами рациональности действующего. Следовательно, нужно попытаться связать эту идею с классической постановкой проблемы, с базовой социологической концептуализацией, показать, что картина мира, в которой людьми больше не движет расчет и стремление к достижению поставленных целей, не лишает нас возможности рассуждать об этом мире социологически.

Подобную попытку восстановления *аксиоматической релевантности* гофмановских работ предпринимает теоретик постмарксистского толка Алвин Гоулднер.

«Драматургическая модель, — пишет он, — отражает новый мир, в котором средний класс более не верит в пользу прилежного труда или в то, что успех зависит от прилагаемых усилий. В этом новом мире остро чувство иррациональности отношения между достижениями человека и получаемым вознаграждением, между действительными заслугами и социальной репутацией. Это мир дорогих голливудских звезд и рынка акций, цены которых

слабо связаны с приносимой ими прибылью... Люди теперь производят не вещи, а впечатления»³⁷.

Для последовательной постмарксистской интерпретации подмена «производства вещей» «производством впечатлений» абсурдна (особенно, если в ее фокусе находится идея «утилитаризма»), но лишь до тех пор, пока производство впечатлений не начинает анализироваться по тем же критериям, что и производство вещей:

«Гофмановская драматургия, таким образом, “антиутилитаристична” только в смысле противопоставления исторически угадываемой форме утилитаризма. Отстраняясь от этого “старого” утилитаризма, полагающего, что люди могут и должны быть полезны во всем, что делают, социальная драматургия открывает новый “маркетинговый утилитаризм”, оперирующий явными видимостями, опирающийся на управление впечатлениями и самопрезентациями»³⁸.

Благодаря такой переформулировке предложенное Гофманом описание социальной реальности как «мира сценической игры» более не выглядит карикатурой на классические образы мира в социальной теории, а встраивается в ряд этих образов: «мир игры» — это своего рода апгрейд «мира производства», социологическая модель исторически новой формы утилитаризма.

10. Выбор традиции как ассимиляция: «Гофман Ирвинг — ... »

Восстановления одной лишь аксиоматической релевантности недостаточно. Для успешной ассимиляции необходимо восстановить связь неудобных работ с существующими традициями социологического теоретизирования. Одно лишь перечисление таких попыток применительно к работам Гофмана заняло бы несколько страниц: «яркий представитель современного американского структурализма», «выдающийся символический интеракционист», «семиотик от социологии», «создатель новой феноменологической социальной науки», «провозвестник

³⁷ Gouldner A. Other Symptoms of the Crisis: Goffman's Dramaturgy and Other New Theories // Sage Masters of Modern Social Thought / Ed. by G. A. Fine, G. Smith. Vol. I. L.: Sage Publications, 2000. P. 247

³⁸ Ibid.

этнометодологического поворота», «наследник традиций Чикагской школы», «представитель американского неопрагматизма» и т.д.³⁹

Среди тех, кто включился в символическую борьбу за право ассимиляции гофмановских работ, особенно выделяются представители интеракционистской и структуралистской социологических традиций. Однако и те, и другие в своем стремлении утвердить «правильный взгляд» на Гофмана используют сходные приемы ассимилирующей интерпретации: две традиции противопоставляются друг другу, демонстрируется их радикальная несовместимость, после чего в гофмановских текстах выделяется несколько концептов, которые «неопровержимо» свидетельствуют в пользу его принадлежности к одной из них.

Для интерпретаторов-интеракционистов такими маркерами являются концепты «определение ситуации», «взаимодействие», «роль», «идентичность». Для интерпретаторов-структуралистов: «фрейм», «структура коммуникации», «переключение», «матрица событий». Первая группа *концептов-маркеров* по большей части берется из ранних работ Гофмана, вторая — из поздних его сочинений.

В 1977 г. в статье «“Ситуация” против “Фрейма”: “интеракционистский” и “структуралистский” анализ повседневной жизни» Джордж Гонос выступил с критикой интеракционистского прочтения гофмановских работ. С его точки зрения, Ирвинг Гофман — яркий представитель современного американского структурализма. «Мы не отрицаем, что в творчестве Гофмана есть фазы и происходил ряд изменений, — пишет Гонос. — Однако наш центральный тезис состоит в том, что у Гофмана всегда были серьезные разногласия с интеракционистами, относящиеся к природе и происхождению личности, роли субъективных ориентаций акторов и т.д. ...Концепты “ситуации” и “фрейма” представляют две противоположные парадигмы, использующиеся для изучения повседневности, но каждая из которых должна быть рассмотрена как дериват классической социологической традиции. “Ситуация” — это пароль к интеракционистскому (или социально-активистскому) подходу, основывающемуся на базовых принципах веберизма, тогда как “фрейм” апеллирует к категориальному аппарату, которым Гофман обязан Дюркгейму»⁴⁰.

³⁹ Попытка обобщения и анализа таких интерпретаций была сделана нами в: Вахштайн В. С. Социологическая теория Ирвинга Гофмана: два прочтения // Социологическое обозрение. 2004. Т. 4. № 1.

⁴⁰ Gonos G. “Situation” versus “Frame”: The “Interactionist” and the “Structuralist” Analysis of Everyday Life // Sage Masters of Modern Social Thought / Ed. by G. A. Fine, G. Smith. Vol. IV. L.: Sage Publications, 2000. P. 34.

Сам Гофман, вероятно, немало удивился бы тому факту, что понятием «фрейм» он обязан Э. Дюркгейму, а не Г. Бейтсону. Концепция Дюркгейма в равной степени далека и от проблематики теории фреймов и от утверждаемой ею метафорики (а идея «фрейма» столь же далека от задач дюркгеймовского социологизма). Но интерпретатору-структуралисту Дж. Гоносу требуется продемонстрировать:

- 1) связь работ Гофмана с классической традицией;
- 2) связь работ Гофмана с нужной классической традицией.

Бейтсон для этой цели не подходит. Дюркгейм — гораздо удобнее...

Следует подчеркнуть: «конфликт интерпретаций» работ Ирвинга Гофмана и «военные действия», развернутые их интерпретаторами, отнюдь не являются лишь атрибутами символической борьбы за право распоряжаться гофмановским наследием. Иными словами, интерпретация — не чисто стратегическое действие, подчиненное императиву «максимального выигрыша»: приобретению имени и статуса, укреплению позиций научной школы (в таком духе о соперничестве интерпретаций мог бы высказаться радикальный социологист). За описанными выше интеракционистскими и структуралистскими интерпретациями легко угадывается проблема соотношения концептов «*структуры*» и «*взаимодействия*» в работах самого Гофмана. Гофман (намеренно?) оставляет решение этой проблемы интерпретаторам. Поток человеческого взаимодействия и «форматирующие» его факторы попеременно попадают в фокус рассмотрения исследователей творчества Гофмана и в зависимости от того, что именно на данный момент подлежит анализу — деятельность или фрейм, взаимодействие или его формат — создается иллюзия пересмотра всей концепции социальной драматургии.

Основное препятствие на пути «ассимилирующего прочтения» — очевидная метафоричность тех концептов, которые выбираются интерпретаторами в качестве «маркеров принадлежности» автора к некоторой социологической традиции. Как ассимилировать метафорическую концептуализацию? Как превратить концепт-метафору в концепт-маркер? Необходимо согласовать метафорику неудобной теории с базовой метафорикой дисциплины. Для этого требуется представить конкретную метафорическую концептуализацию в качестве «частного случая» другой, фундаментальной метафоры. Например, если рассмотреть «драматургическую метафору» раннего Гофмана как частный случай «*ролевой метафоры*» (одной из самых востребованных в социологическом рассуждении), то социальная драматургия окажется очень удоб-

ным теоретическим ресурсом⁴¹. Понятие же «роли» из метафорического концепта — такого, как «реквизит», «передний план», «труппа», «исполнение» — станет понятием-маркером, указывающим на родство социальной драматургии с удобными и вполне традиционными социологическими теориями ролей.

Каждая следующая контекстуализация неудобной классики — помещение ее в очередной теоретический контекст — прельщает интерпретаторов перспективой обнаружения нового ресурса теоретизирования. Неудобная классика всегда окружена ореолом «недопонятости», поэтому поиски скрытых связей между недооцененным классическим наследием и уже оцененными по достоинству теоретическими построениями не прекращаются.

Выше мы описали восстановление аксиоматической релевантности и выбор традиции как два приема встраивания имени неудобного классика в ряд классиков удобных. В совокупности с «систематизацией наследия» эти приемы нацелены на восстановление двух типов связей: внутренней концептуальной связности неудобной классической теории (каждое понятие отсылает к каждому другому) и внешней связности (связи с аксиоматическим ядром дисциплины и легитимными традициями рассуждения).

Наконец, последний тип отношений, который должен быть восстановлен для того, чтобы ассимиляция неудобной классики состоялась, — отношения репрезентации между именем классика и предложенными им концептами. Это своего рода попытка вновь собрать все суммы, истраченные по разменному чеку небережливими наследниками. Такая «забота об имени» часто связана с восстановлением авторитета неудобного классика («...понятие “стигмы”, столь востребованное в современной социальной психологии, уже почти не связано с именем Гофмана, а ведь именно он... » или «...в действительности понятие “тотального института”, которое сегодня привычно ассоциируется с именем М. Фуко, закрепилось в обиходе социологии благодаря Ирвингу Гофману»). Но, как правило, ассоциативная связь «имя — понятие» восстанавливается очень избирательно, опять же в контексте многочисленных интерпретаций. В зависимости от выбранной перспективы ассимиляции с именем Гофмана удобнее ассоциировать либо понятие

⁴¹ Пример подобной интерпретации, направленной на согласования метафор, см. в: Fine G. A., Manning Ph., Smith G. W. H. Introduction // Erving Goffman: Vol. 1 / Ed. by G. A. Fine, G. Smith. L.: Sage Publications, 2000.

«самопрезентация» (интеракционистская перспектива), либо понятие «фрейм» (структуралистская перспектива).

Что происходит с неудобной классикой после ассимиляции? Можно ли сказать, что она перестает быть неудобной и занимает почетное место в корпусе социологического знания? Или «сопротивление материала» оказывается сильнее, интерпретируемые тексты противятся интерпретациям, каждый раз обнаруживая новые, не поддающиеся ассимиляции аспекты? Эти вопросы требуют более детального исследования. Отметим пока, что само понятие «успешной ассимиляции» проблематично. Окончательное обустройство неудобного классического наследия, его канонизация и признание истинности одной из перспектив его интерпретации подрывают фундамент неудобной классичности — ее сенсibiliзирующий потенциал и возможность проблематизации аксиом дисциплины. Становясь «удобной», неудобная классика теряет основания называться «классикой».

11. Проблема референции и знаковая природа классичности

Вопрос, на который у выбранной нами логики рассуждения нет ответа в непротиворечивой и законченной форме — это вопрос «почему концепции, подобные гофмановской, все же признаются классическими?». Логика рецепции вообще не делает различий между удобными и неудобными текстами (классичность теорий здесь в наименьшей степени связана с их содержанием), но она, по крайней мере, отвечает на основной вопрос спора тезисом «классика — это конвенция». Логика репрезентации возражает: «классика — это репрезентация» и, казалось бы, тут же опровергает свой собственный тезис, указывая на существование нерепрезентативной классичности.

Конечно, здесь есть соблазн сказать, что неудобная классика, лишенная всех упомянутых типов связности, — это как раз то самое исключение, которое только подтверждает правило. *В норме* классика основывается на императивах внутренней и внешней согласованности, но есть отдельные случаи канонизации авторов, чьи работы не удовлетворяют этим требованиям. Отсюда все неудобства их прочтения, использования, интерпретации. Впрочем, такое решение лежит на поверхности и больше напоминает отговорку.

Вернемся к исходной точке рассуждения — к повседневному обиходу социологии. В чем причина популярности Ирвинга Гофмана и неугасающего внимания к его работам?

Имя Гофмана редко упоминается в связи с его теоретическими построениями. (К сходному выводу приходят и некоторые современные исследователи творчества И. Гофмана. Например, Ч. Лемерт в своей статье «“Гофман”» замечает: «Слово “Гофман” в памяти теоретика пробуждает рассуждения столь особые, что он вряд ли знает, как с ними поступить»⁴².) Значительно чаще имя «Гофман» употребляется в контексте обсуждения предмета его исследований. Гофман выступает в роли первооткрывателя новых исследовательских областей, ссылка на его имя служит для легитимации интереса к проблемам, традиционно оставшимся за рамками социологических концептуализаций: от исследования порядков расстановки книг на полках в библиотеке до изучения пауз и понижений голоса в повседневных диалогах.

То же можно сказать и о работах Г. Зиммеля — они значительно лучше известны социологам, чья проблематика далека от традиционных вопросов социологии. Например, неудобным текстам Г. Зиммеля обязаны своим возникновением теоретические программы «социологии пространства» и «социологии вещей», с трудом вписывающиеся в канон дисциплины (поскольку далеки от базовой социологической концептуализации: о пространстве, как и о вещи, трудно говорить на языке социологии).

Отсюда возникающая в научном обиходе синонимия имени неудобного классика с неудобным предметом исследования: говорим «Гофман», подразумеваем «производство впечатлений», «психиатрические клиники» и «театральные представления». Имя «Гофман» в отличие от имен «Парсонс», «Гидденс» или «Бурдьё» отсылает не к теоретическим конструкциям и связанным с ними стилям социологического теоретизирования, а к самой проблемной области, исследование которой теперь легитимируется.

Таким образом, неудобная классика, хотя и лишена репрезентативности (классик признается классиком не потому, что за ним — подход, школа или теоретическая система), тем не менее, не лишена *референциальности*. Ее референция — это некоторая область исследований. Гофман признается классиком не столько потому, что современниками актуализируется его теория, сколько потому, что само исследование повседневных порядков взаимодействия без ссылки на работы Гофмана выглядит необоснованным.

⁴² Lemert Ch. “Goffman” // The Goffman Reader / Ed. by Ch. Lemert, A. Branaman. Malden: Blackwell, 1997. P. IX.

Идея репрезентативности дает нам возможность сформулировать ответ на исходный вопрос «Почему классика классична?». Идея референциальности позволяет понять, почему имя «Гофман» укоренено в повседневной научной коммуникации, хотя и лишено репрезентативности в том смысле, в каком ее не лишены имена «Дюркгейм», «Вебер», «Парсонс». И репрезентация (лежащая в основании удобной классики) и референция (отражающая специфику классики неудобной) — суть свидетельства знаковой природы классичности, проявления процесса означания, сигнификации.

Противопоставляя логику рецепции логике репрезентации (сейчас, конечно, правильнее было бы назвать ее логикой сигнификации, поскольку репрезентацией «знаковость» классики не исчерпывается), мы противопоставили социологизму иной, не социологистский способ рассуждения о классике. Но является ли такой способ социологическим? Не «выносит» ли он исследование в смежную дисциплинарную область? Не противопоставляем ли мы социологическому редуционизму другую форму редуционизма, применение которого в перспективе может оказаться для исследователя-социолога еще более неудовлетворительным?

До определенной степени эти опасения оправданны. Если логика рецепции распознает классику только в ее «социальном существовании» и редуцирует содержание классических работ к социальным обстоятельствам их усвоения, то логика означания от признания знаковой природы классичности легко переходит к изучению классики исключительно в ее текстуальном аспекте и редуцирует классичность к употреблению «имен» в коммуникации. Тогда «удобство» и «неудобство» того или иного классика оказываются просто разными модусами бытования знака — его имени.

Логика, названная нами первоначально «логикой репрезентации», получает солидное подкрепление при использовании теоретических ресурсов аналитической философии истории и многочисленных исследований семантики имени собственного в научных текстах. Однако подобный уход в «исследования текстов» и подмена одного редуционизма другим (редукция «к текстуальному» вместо редукции «к социальному») менее всего способствуют решению поставленной выше задачи: сформулировать *социологический, но не социологистский* способ рассуждения о природе классичности.

Логика репрезентации, таким образом, оказывается маргинальным (буквально: «приграничным») способом рассуждения — ее теоре-

тические основания далеки от социологистского «мэйнстрима» и, в то же время, они не могут покинуть пределов дисциплины, оставаясь социологическими (а не филологическими, семиотическими или какими-либо иными) основаниями. В силу специфической дисциплинарной маргинальности логика репрезентации так же неудобна для социологии, как и описанный с ее помощью феномен неудобной классики. Перспектива, позволяющая различить «удобное» и «неудобное» классическое наследие, сама неудобна — она с трудом вписывается в традиционный социологический способ разговора о природе классичности.

Такое «неудобство второго порядка» — неудобство исследования неудобств — не случайно. Это не совпадение и не «игра в самореферентность» в духе Никласа Лумана («Классики суть классики, потому что они классики. В современном употреблении для них характерна самореферентность»⁴³). Дело в том, что предложенная в настоящей работе логика исследования классичности выстроена на теоретическом фундаменте «приграничной» и крайне «неудобной» области социологической науки: *социологии повседневности*.

12. Феномен аппрезентации и социология повседневного обихода социологии

Вероятно, никого из читателей не ввела в заблуждение неумелая маскировка «логики репрезентации» под семиотическую перспективу анализа⁴⁴. Выражения «референция», «бытование знака», «означение имени», «семантика и прагматика имени классика» не открывают дороги новому междисциплинарному синтезу: исследованию социологической классики средствами «науки о знаках». Категориальный аппарат предложенного здесь анализа — «повседневный обиход науки», «стратегии самопрезентации», «рутинизация» классического наследия, «наличное знание» социологического теоретизирования — заимствованы из социологических концепций И. Гофмана и А. Шюца. Именно их теоретические разработки легли в основу логики репрезентации.

Вернемся к различению двух логик, проведенному нами на первом этапе анализа. Логика рецепции — неизменный атрибут социоло-

⁴³ См.: Luhmann N. Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1984. S. 7.

⁴⁴ Во всяком случае, она не ввела в заблуждение участников семинара Института гуманитарных историко-теоретических исследований, на котором впервые были изложены приведенные выше аргументы.

гистского препарирования науки. Что является исходной аксиомой данного способа рассуждения? Имплицитное представление о науке как о *социальном институте*. Что составляет его основной методологический императив? Требование объяснения «социального социальным». Классика конвенциональна, потому что наука — лишь разновидность социального института наряду с церковью, политической системой и вооруженными силами. Социологизм в исследовании науки предлагает нам линию аргументации «от институтов», чем и обусловлен весь категориальный аппарат этого способа рассуждения.

Что является аксиомой логики репрезентации? Анализ научного знания в перспективе *повседневного обихода науки*, определенным образом фреймированной коммуникации, в которой разворачиваются стратегии презентации и самопрезентации, происходит контекстуализация и реконтекстуализация теоретических ресурсов. Основной методологический императив данной логики — *объяснение социального как связи неповседневных и повседневных «миров»*, мира идей и мира их социального обращения. Для исследования этой связи нами и привлекается тезис о знаковой природе классичности: имя классика принимается как «заместитель» его концепций в повседневном обиходе науки, сами же концепции принадлежат не повседневным порядкам коммуникации, а миру научной теории.

В основе такого понимания знаковой природы классичности лежит гуссерлевская идея «аппрезентации», введенная А. Шюцем в обиход социологии повседневности. Аппрезентация — феномен образования пар: «две или более данности интуитивно даются в единстве сознания, которое, по этой самой причине, конституирует два отличных друг от друга феномена как единство, независимо от того, направлено ли на них внимание»⁴⁵. В шестом «Логическом исследовании» и в первой главе «Идей» Гуссерль доказывает аппрезентативный характер всякого знакового отношения. Чем понятие «аппрезентации» может помочь в исследовании природы классики?

Классичность, конститутивным признаком которой является «надындивидуальное значение, приписываемое некоторому лицу и его произведениям» (Кенке), представляет собой аппрезентативное соотнесение высшего порядка — *символическую аппрезентацию*. Высшего, потому что апелляция к классику связывает актуальные ситуации научной коммуникации и трансцендентный мир научной теории.

⁴⁵ Шюц А. Символ, реальность и общество // Избранное: Мир, светящийся смыслом: Пер. с нем. и англ. М.: РОССПЭН, 2004. С. 464.

«Всем аппрезентативным соотношениям, — пишет Шюц, — свойственна специфическая трансцендентность аппрезентируемого объекта по отношению к “здесь и сейчас” интерпретатора. Однако во всех случаях, за исключением символической аппрезентации, все три члена аппрезентативного соотношения — аппрезентирующий и аппрезентируемый члены пары и интерпретатор — принадлежат одному и тому же уровню реальности, а именно верховной реальности повседневной жизни. Символическое же соотношение характеризуется тем, что выходит за пределы конечной области значения повседневной жизни таким образом, что к ней относится только аппрезентирующий член соответствующей пары, тогда как аппрезентируемый член локализован в другой конечной области смысла или, по терминологии Джемса, в другом субуниверсуме»⁴⁶.

Этот «другой субуниверсум» в нашем случае — и есть «мир идей», аппрезентативно связанный с повседневным обиходом науки. Ситуация «здесь и сейчас», о которой идет речь, не тождественна ни ситуации написания текста, ни актуальному моменту и месту его прочтения. Научная коммуникация, опосредованная текстом, протекает, по выражению Шюца, в «квазинастоящем». Таким образом, «здесь и сейчас» автора трансцендентно ситуации «здесь и сейчас» читателя, но это не трансцендентность «высшего порядка». Нас связывает этот текст. Ситуация его написания и ситуация его прочтения вплетены в разные временные перспективы (перспективы автора и читателя), но эти перспективы могут быть синхронизированы, они обе берут начало в пересечении «живого настоящего» и космического времени.

Однако для «мира идей» (в частности, идеи феноменологической социологии повседневности) указания на временные перспективы автора и читателя данного текста нерелевантны. «Идея феноменологической социологии» — аппрезентируемый член пары, трансцендентный актуальным ситуациям повседневного обихода науки и доступный нам только благодаря символическому соотношению. Что является аппрезентирующим членом данного отношения? «Метки», расставленные в тексте: «*живое настоящее*», «*квазинастоящее*», «*космическое время*», «*аппрезентация*», «*конечная область смысла*». Данные концепты соотносимы как с аппрезентируемым объектом («идеями феноменоло-

⁴⁶ Шюц А. Указ. соч. С. 513.

гической социологии»), так и друг с другом, и с именем Альфреда Шюца. Даже если бы со ссылки на это имя не начиналось настоящее рассуждение, «метки» недвусмысленно указали бы компетентному читателю на то, какой именно теоретический ресурс здесь задействован и какое именно имя его маркирует.

Выше мы сформулировали кредо логики рецепции в исследованиях классичности: «теоретики прошлого сияются убедить нас в непреходящей ценности своих работ, сообщить им статус трансцендентных, неподвластных времени объектов, но мы-то знаем, что за этим стоят скрытые социальные силы, поддерживающие существование науки как социального института». Логика репрезентации исходит из того, что «...классические имена суть аппрезентанты, представляющие идеи в повседневном обиходе науки; сами же эти идеи трансцендентны ситуациям коммуникации и несводимы к аппрезентирующим их именам, поскольку принадлежат иной конечной области смыслов». Соответственно, оба порядка — и порядок аппрезентируемых объектов («мир идей») и порядок аппрезентантов («мир их социального обращения») — разные конечные области смысла, они автономны, самозаконны, и не могут быть объяснены друг через друга. Отсюда неприемлемость всякой замкнутой модели классичности, основанной на формуле «Классика — это X, X должно объясняться через X».

Для логики репрезентации трансцендентность классических идей — не мнимая величина, не результат заговора наследников, ритуала классикализации или прихотливой игры «королевской свиты». Это необходимое условие существования классичности как таковой. В основании классичности лежит связь двух несводимых друг к другу, но некоторым образом связанных порядков. Каким образом связанных?

Проблема возникает именно с определением характера этой связи. А. Шюц радикально разводит мир научной теории и верховную реальность повседневной жизни, указывая на символическую аппрезентацию, как на способ их соотнесения. Однако соотнесение это «односторонне»: социальная теория создает референцию повседневного мира, превращая социальные феномены в теоретические конструкты. Так, например, теоретическими конструктами социологии становятся модели «социально действующих лиц», искусственно созданных теоретиком «гомункулов».

«Марионетка, — пишет Шюц, — и ее вымышленное сознание не подчиняются онтологическим условиям человеческого существования. Гомункул не родился, он не взролеет и не умрет. Он

не свободен в том смысле, что не может выйти за рамки, предопределенные его создателем, социальным ученым»⁴⁷.

Это неизбежная схематизация, свойственная всякому моделированию, в том числе и научному. В то же время конструкты социального ученого — это «конструкты второго порядка», поскольку социально действующие индивиды сами типизируют собственный мир. Конструкты социолога — суть конструкты конструктов.

Феномены повседневного мира аппрезентативно отображаются в мире социальной теории. Однако, выдвигая этот тезис, Шюц исключает возможность обратной референции — аппрезентативного отображения теоретических конструктов социальной науки в повседневном обиходе. В шюцевском проекте «мост» между миром идей и миром обыденных коммуникаций допускает движение только в одну сторону и это движение от повседневных взаимодействий — к символическим конструктам. Изучая «теоретизацию рутины», Шюц не рассматривает «рутинизацию теории» — процесс, в котором происходит инкорпирование теоретического знания в обыденную научную практику, превращение его в «наличное знание» социологической коммуникации.

Однако именно такая «рутинизация теории» лежит в основании повседневного обихода науки. Классические идеи обладают высокой «ликвидностью» и «свободным хождением» в социологическом дискурсе благодаря своей рутинизированности, приобретенной обыденности. Для социолога *естественно* объяснять ритуалы необходимостью поддержания солидарности, девиацию — сбоем в системе социального контроля, а знание о мире — социальной структурой сообщества, в котором это знание произведено. «Естественность» и самоочевидность подобных рассуждений — результат рутинизации классических теорий.

Рутинизация теории, так же как теоретизация рутины, предполагает некоторое упрощение, схематичность отображения. Однако конструкты повседневного обихода науки не вписываются в шюцевское различение конструктов первого и второго порядков. Ни обыденные представления «людей с улицы», ни референции этих представлений в мире социальной теории (социологические концепты) не дают нам представления о том, что происходит с теоретическими построениями по мере их рутинизации. Социальный ученый, создающий аналитическую схему повседневного социального взаимодействия, вынужденно

⁴⁷ Шюц А. Обыденная и научная интерпретация человеческого действия. Общество // Избранное: Мир, светящийся смыслом: Пер. с нем. и англ. М.: РОССПЭН, 2004. С. 41.

работает с упрощенными моделями «социально действующих лиц» (шюцевских «гомункулов»). Но как только схема эта входит в плоть и кровь теоретического дискурса, становится классической и закрепляется в повседневном обиходе социологической коммуникации, ее ждет новая трансформация — она рутинизируется, упрощается. (Что остается от сложной аргументации М. Вебера о связи протестантской этики и духа капитализма в работах многочисленных «practitioners», рефлексивно апеллирующих к веберовской аналитической схеме? Что — кроме упрощенной социологической логики — остается в повседневном обиходе науки от многочисленных концептуализаций Э Дюркгейма?) И теперь уже классик начинает существовать в роли «гомункула»: он присутствует в повседневном обиходе научной коммуникации как маркер собственной теоретической схемы: для коммуницирующих не релевантны онтологические условия его человеческого существования, для них он не взрослеет и не стареет. «Оповседневленный» классик — такая же референция теории в обиходе социологии, как шюцевский «гомункул» — референция «обычного человека» в мире социальной теории. (Отсюда, в частности, следует, что участие «живого классика» в повседневных научных коммуникациях не идет на пользу его классичности. Канонизированному при жизни предписано уйти из мира повседневности.)

Итак, рутинизация теории и теоретизация рутины во многом симметричны: «мост» между миром идей и миром их социального обращения допускает движение в обе стороны. Мы вынуждены признать, что повседневный обиход науки создает такие же схематичные «отображения» теоретических конструктов (и вместе с ними: схематичные отображения классичности), как и мир науки; это реципрокное соотношение. Но теоретическая логика исследовательской программы А. Шюца исключает подобную возможность. Такой вывод угрожает сразу двум аксиоматическим допущениям феноменологической социологии: постулату о «замкнутости» конечных областей смысла и постулату об их иерархичности (мир повседневности образует верховную реальность, мир научной теории иллюзорен и в этом сравним с миром фантазмов, сновидений и галлюцинаций).

«Относительно конечной области смысла, именуемой наукой, — пишет Шюц, — напомним утверждение Уайтхеда, что необходимой предпосылкой развития современных естественных наук было создание “идеально изолированной системы”»⁴⁸.

⁴⁸ Шюц А. Символ, реальность и общество // Избранное: Мир, светящийся смыслом: Пер. с нем. и англ. М.: РОССПЭН, 2004. С. 515.

Социальные науки следуют тем же путем, стремясь к самореферентности, замкнутости, изолированности.

Связь двух изолированных конечных областей смысла — это не связь сообщающихся сосудов. В противном случае о них нельзя было бы говорить как о *конечных* областях. «Конечность областей смысла, — отмечает Шюц в другой своей работе, — предполагает, что не существует возможности соотнесения одной из этих областей с другой путем введения формулы трансформации»⁴⁹. Соотнесение это, по Шюцу, носит характер односторонней символической аппрезентации, но нет никакой «формулы преобразования», допускающей взаимное соотнесение, устанавливающей симметричность процессов теоретизации рутины и рутинизации теории. Для Шюца даже понятие «повседневного обихода науки» сомнительно — либо это повседневный обиход, и тогда он принадлежит миру повседневности, либо это мир науки и тогда его содержание составляют символические конструкции и отстраненные созерцания. Шюцевская социология повседневности немного может сказать о повседневности социологии.

Как сохранить тезис о двух не сводимых друг к другу, но связанных между собой конечных областях смысла (без которого теряет опору основное наше суждение о знаковой природе социологической классики) и в то же время не ограничиваться утверждением об одностороннем схематизирующем движении: от повседневных феноменов к теоретическим конструктам? Как связать теоретизацию рутины и рутинизацию теории в единой аналитической схеме исследования социологической классики?

В первую очередь следует обратиться к иному теоретическому ресурсу социологии повседневности и переписать эту проблематичную соотнесенность.

Если для Альфреда Шюца всякий поиск «формулы трансформации», устанавливающей двустороннее отношение между миром науки и миром повседневности, — априорно бессмысленное предприятие, то для Ирвинга Гофмана — это фундаментальная теоретическая задача. Задача, которую Гофман решает с помощью описывавшегося выше понятия «переключения». Содержание повседневной рутины трансформируется (преобразование, аналогичное музыкальному транспонированию) в содержание научной теории, а содержание научной теории —

⁴⁹ Шюц А. О множественных реальностях // Избранное: Мир, светящийся смыслом: Пер. с нем. и англ. М.: РОССПЭН, 2004. С. 426.

в содержание повседневного обихода науки. Понятие переключения — в отличие от понятия символической аппрезентации — допускает двустороннюю транспозицию.

Однако теперь неясно, что из транспонируемого является «моделью», а что «оригиналом»? Схематизация повседневного мира в теоретической модели симметрична схематизации теоретической модели в повседневном обиходе науки. Для Шюца безусловным онтологическим статусом обладает лишь мир повседневности, тогда как научная теория — его символическая имитация; Гофман же в итоге своего исследования приходит к радикально релятивистскому выводу: «...любое из изображений может быть в свою очередь создано путем копирования чего-то такого, что само является макетом, и это наводит нас на мысль, что суверенным бытием обладает *отношение*, а отнюдь не субстанция». Какое отношение?

Г. Бейтсон вслед за А. Коржибским назвал это отношение «отношением карты и территории» или структурно-метафорическим отношением. (Здесь мы опять сталкиваемся с метафорической конструкцией «X как Y».) Какой из двух субуниверсумов теперь является «картой», а какой «территорией» уже не столь важно. Повседневные взаимодействия картографируются ученым и схематично отображаются на «карте» социальной теории; социальная теория становится достоянием регулярных коммуникаций в повседневном обиходе науки, которые оставляют от нее лишь «остов» (инкорпорирующуюся в наличное знание последующего теоретизирования логику аргументации). Формула трансформации в данном случае — это формула «двойного переключения». И двойной схематизации. Фигура классика в результате оказывается одновременно и условием, и объектом такого двойного переключения-картографирования.

Подобным образом устанавливаются отношения репрезентации между именем классика и приписываемой ему теоретической схемой. Во всяком случае, так выглядит это отношение «в норме», а потому нарушение принципа «двойного переключения» (которое мы наблюдаем в результате канонизации неудобных авторов) пробуждает к жизни многочисленные революционизирующие и ассимилирующие прочтения.

Заключение

Основной теоретический мотив предпринятого выше рассмотрения классичности весьма далек от интенции «возвращения науки жизнен-

ному миру». Наша задача скромнее — указать на то, как классичность поддерживает, охраняет и цементирует симметричное отношение двух этих универсумов, делая возможным транспозицию их содержаний. До тех пор пока классичность справляется с данной задачей, вопросам об «удобстве» и «неудобстве» классического наследия места не остается, его репрезентативный характер оказывается в положении «видимого, но не замечаемого». Лишь когда имя классика «пробуждает в памяти теоретика рассуждения столь особые, что он вряд ли знает, как с ними поступить» (Ч. Лемерт об И. Гофмане), знаковая природа классичности становится проблематичной и, следовательно, зримой, доступной исследованию. В этом проявляется специфика неудобной классики как «классики сенсбилизации»: повышение чувствительности науки к своим собственным основаниям, экспликация аксиом и превращение их в проблемы.

Впрочем, обратная сторона подобной сенсбилизации — неизбежная метафоричность теоретических описаний, несогласованность аналитических схем, отсутствие внятной дисциплинарной локализации. На фундаменте неудобной классики невозможно выстроить ясного самоописания дисциплины, представив ее на ее же собственном «языке».

Неудобные тексты не выполняют «функций ориентации», не демонстрируют, чем социологический способ мышления отличается, например, от психологического или экономического. Неудобная классика маргинальна, и отсюда ее популярность в «приграничных» предметных областях, далеких от социологического «мэйнстрима». До самого момента своей окончательной ассимиляции (или полного забвения) она остается «классикой фронта».

Препринты ИГИТИ ГУ ВШЭ

Серия *WP6*

«Гуманитарные исследования ИГИТИ»

1. **Савельева И.М., Полетаев А.В.** Функции истории. Препринт WP6/2003/01. М.: ГУ ВШЭ, 2003.
2. **Дубин Б.В.** Семантика, риторика и социальные функции «прошлого»: к социологии советского и постсоветского исторического романа. Препринт WP6/2003/02. М.: ГУ ВШЭ, 2003.
3. **Руткевич А.М.** Психоаналитическое учение о символе и интерпретации. Препринт WP6/2003/03. М.: ГУ ВШЭ, 2003.
4. **Андреев М.Л.** Второе рождение нормативной поэтики. Препринт WP6/2003/04. М.: ГУ ВШЭ, 2003.
5. **Самутина Н.В.** Современное европейское кино и идея культуры («прошлого»). Препринт WP6/2003/05. М.: ГУ ВШЭ, 2003.
6. **Савельева И.М., Полетаев А.В.** История и интуиция: наследие романтиков. Препринт WP6/2003/06. М.: ГУ ВШЭ, 2003.
7. **Репина Л.П.** Культурная память и проблемы историописания (историографические заметки). Препринт WP6/2003/07. М.: ГУ ВШЭ, 2003.
8. **Никс Н.Н.** «Велик и благороден труд профессора» (Жизнь и деятельность московской профессуры второй половины XIX — начала XX вв.). Препринт WP6/2004/01. М.: ГУ ВШЭ, 2004.
9. **Юревич А.В.** Социогуманитарная наука в современной России: адаптация к социальному контексту. Препринт WP6/2004/02. М.: ГУ ВШЭ, 2004.
10. **Андреев М.Л.** Формы прошлого в классической европейской литературе. Препринт WP6/2004/03. М.: ГУ ВШЭ, 2004.
11. **Фрумкина Р.М.** Психолингвистика: что мы делаем, когда говорим и думаем. Препринт WP6/2004/04. М.: ГУ ВШЭ, 2004.

- 12. Филиппов А.Ф.** Конструирование прошлого в процессе коммуникации: теоретическая логика социологического подхода. Препринт WP6/2004/05. М.: ГУ ВШЭ, 2004.
- 13. Руткевич А.М.** Психоанализ и доктрина «исторической памяти». Препринт WP6/2004/06. М.: ГУ ВШЭ, 2004.
- 14. Савельева И.М., Полетаев А.В.** Социальные представления о прошлом: типы и механизмы формирования. Препринт WP6/2004/07. М.: ГУ ВШЭ, 2004.
- 15. Савельева И.М., Полетаев А.В.** Социальные представления о прошлом: источники и репрезентации. Препринт WP6/2005/01. М.: ГУ ВШЭ, 2005.
- 16. Капелюшников Р.И.** Деконструируя Поланьи (заметки на полях «Великой трансформации»). Препринт WP6/2005/02. М.: ГУ ВШЭ, 2005.
- 17. Ерусалимский К.Ю.** История на посольской службе: дипломатия и память в России XVI в. Препринт WP6/2005/03. М.: ГУ ВШЭ, 2005.
- 18. Савельева И.М., Полетаев А.В.** История и социальные науки. Препринт WP6/2005/04. М.: ГУ ВШЭ, 2005.
- 19. Зарецкий Ю.П.** История европейского индивида: от Мишле и Буркхардта до Фуко и Гринблатта. Препринт WP6/2005/05. М.: ГУ ВШЭ, 2005.
- 20. Фрумкина Р.М.** Культурно-историческая психология Выготского — Лурия. Препринт WP6/2006/01. М.: ГУ ВШЭ, 2006.
- 21. Полетаев А.В.** Валовой внутренний продукт Российской Федерации в сопоставлении с Соединенными Штатами Америки, 1960—2004 гг. Препринт WP6/2006/02. М.: ГУ ВШЭ, 2006.
- 22. Руткевич А.М.** Прошлое историка. Препринт WP6/2006/03. М.: ГУ ВШЭ, 2006.
- 23. Савельева И.М., Полетаев А.В.** Знают ли американцы историю? Ч. 1. Препринт WP6/2006/04. М.: ГУ ВШЭ, 2006.

Препринт WP6/2006/05
Серия WP6
Гуманитарные исследования ИГИТИ

Вахштайн Виктор Семенович
**«Неудобная» классика социологии XX века:
творческое наследие Ирвинга Гофмана**

Публикуется в авторской редакции

Зав. редакцией *А.В. Заиченко*
Технический редактор *Н.Е. Пузанова*

ЛР № 020832 от 15 октября 1993 г.
Формат 60×84 ¹/₁₆. Бумага офсетная. Печать трафаретная.
Тираж 150 экз. Уч.-изд. л. 3,2. Усл. печ. л. 3,02. Заказ № . Изд. № 630

ГУ ВШЭ. 125319, Москва, Кочновский проезд, 3
Тел.: (095) 134-16-41; 134-08-77
Факс: (095) 134-08-31
Типография ГУ ВШЭ. 125319, Москва, Кочновский проезд, 3

Для заметок

Для заметок
